



ЮЖНЫЙ ВЕТЕР

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Май 2024

Тирасполь

От составителей:

Уважаемые читатели ЭЛА «Южный ветер», благодарим Вас за замечания, предложения и присланные материалы. Все это мы обязательно попытаемся использовать в ближайших выпусках, как делаем это в данном выпуске. Но не будем скрывать, что нам хотелось бы получать их побольше по указанному в выпуске за январь почтовому адресу электронной почты (djivs60@mail.ru).

Мы будем стремиться отвечать на все Ваши вопросы. В частности название рубрики «Литературное наследство» выбрано нами не случайно, так как мы стремимся следовать лучшим издательским традициям России, СССР и РФ. «Литературное наследство» – неперiodическое научное издание. Выходит с 1931 года. До 1959 года – орган Отделения языка и литературы АН СССР, после 1959 года – орган Института мировой литературы им. А. М. Горького. Выпускается издательством «Наука». В «Литературном наследстве» впервые публикуются многие тексты русских писателей и поэтов, воспоминания о них, исследовательские статьи. Как правило, впервые публикуемые тексты подробно комментируются. Издание хорошо проиллюстрировано. К настоящему времени вышло более 100 томов.



Кроме того у нас большая просьба ко всем, кто заинтересован в воссоздании истории литературы Приднестровья. К сожалению, весь биографический материал о Петре Максимовиче Илюхине у нас уместился в несколько представленных ниже строк. В Госархиве ПМР, куда мы обращались, помочь нам никак не смогли. Возможно, кто-то из Вас, уважаемые читатели, такого рода информацией обладает. Если это информация *точная* просим Вас прислать ее по указанному адресу.

ПОЭЗИЯ

Великая Отечественная война.

Сколько о ней написано, сколько сказано, сколько будет сказано и написано еще. Для нас Великая Отечественная – это та точка отсчета, исходя из которой мы измеряем в себе человеческое, осознаем величие подвига во имя торжества мира на Земле, во имя сохранения тех нравственных ценностей, без которых немыслима сама жизнь во всей своей полноте и красоте.

Чем дальше мы уходим от войны, чем меньше остается тех, кто ее пережил, кто сознавал и видел воочию все беды, которые она несет в себе, тем больше никому не нужных, калечащих нашу душу словопрений и трескучих фраз о ее значимости, лжеисторических поучений и изысканий о ее причинах и итогах. Больше того, «квасного» патриотизма, который пагубно влияет на понимание самой сущности подвига наших дедов и прадедов.

Наш долг не просто хранить в памяти величие подвига, а всецело осознавать его как проявление торжества духа, как победы светлого начала в человеке над тем разрушительным, что чуждо ему.

Поэты-фронтовики Николай Фридман, Петр Шпаков. Игорь Ильин, Василий Маслов в своих стихотворениях отражали горькую правду войны. Их стихи не просто воспоминания о войне, они пробуждают в нас чувства любви к человеку и Отечеству.

Проза А.Карасева, Н. Кудина, С. Корытника – это проза тех, кто не пережил войны, но кто соприкоснулся с ней в воспоминаниях своих родных, близких. Связь поколений и времен не прерывается. Она живет в каждом из нас. Этим мы сильны. Это то, что дает нам возможность сохранить в себе Человека, помнящего свое прошлое, живущего настоящим и размышляющего о грядущем. Памятью о войне проникнуты и стихи А.Мельничук, Т.Базилевской и В.Сайнчина.

Ю. Заяц



Фридман Николай Сергеевич (Фридман Ной Сруль-Гошия Гошелев) родился 9 июля 1924 года в местечке Барановка Барановского района Житомирской области УССР. 10 классов окончил в г. Одессе. Родители были педагогами. В декабре 1941 года ушел добровольцем на фронт. В начале войны окончил Военно-морское авиационно-техническое училище им. В.М.Молотова в г. Перми по специальности механик по спецоборудованию. Войну прошел автомехаником полка бомбардировщиков ВВС Северного флота. Окончил в звании «техник–лейтенант», награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». Участвовал в Яско-Кишиневской операции.

После демобилизации окончил Мурманский государственный учительский институт, учительствовал, преподавал физику и математику. В 1960 году поселился в г.Тирасполе МССР, где продолжал работать учителем. С этого времени постоянно публикуется в периодической печати Молдавии и России.

В большой поэзии дебютировал авторским циклом в сборнике «Рождение слова» (1986г.). Большую подборку стихотворений опубликовал также в сборнике «Песня в строю» (1989г.). В 1991 году Николай Фридман был принят в члены Союза писателей СССР. Умер 27.08.1996г.

Николай Фридман

Кончался бой...

Кончался бой немыслимой длины,
и первый раз за все четыре года
мы наяву, пройдя огонь и воду,
увидели агонию войны.
И белый флаг, молящий из окна,
и в стеклах, словно в лужах, мостовая,
и эта площадь в зареве, чужая,
где половина зданий снесена.
Еще земля взрывалась от вражды,
а в головах у нас перемешалось
и торжество, и смертная усталость,
и детский плач – живая боль беды.
А улицы дымы заволокли,
мы в черный город вглядывались зорко,
и парень в обгоревшей гимнастерке,
вздохнув, счастливо прошептал: «Пришли!»
Кончался бой немыслимой длины,
прямой наводкой били по рейхстагу.
И шли бойцы в последнюю атаку,
И падали в последний день войны.

Победа

Устали от дыма рассветы,
врачуется бальзам тишины
окопные шрамы планеты.
Еще не бывало на свете
страшнее минувшей войны.
В степях, по горам и болотам,
в распутицу, зной и мороз,
ползла по-пластунски пехота,
но надо: такая работа! –
вставала под пулями в рост.
Осколки меж нами свистели,
взрывался тяжелый фугас,
и кровь на шинели рыжела,
и смерть через прорезь прицела
привычно глядела на нас.
Еще горизонты багряны,
могилы друзей фронтовых
болят, как открытые раны.
Победа! И залпы не грянут
по тем, кто остался в живых.

Жизнь

Кто ты, Жизнь?
Глоток озона,
хлеб с водой, клочок земли?
Голос девочки влюблённой,
парус, тающий вдали?
В чём твоё предназначенье?
Знамя бунта ради всех?

Крылья веры, боль сомнения,
незатейливость утех?
Чтоб на множество вопросов
дать какой-нибудь ответ,
опираюсь, как на посох,
я на опыт прошлых лет.
И приходят в думы дети
и заветная тетрадь...
Как печально всё на свете:
обрести, чтоб потерять.
Наши жизни – лотереи,
судьбы – тоненькая нить...
Жизнь, прости, что я умнее
не сумел тебя прожить.
Слишком много было вздора,
неудач и просто бед...
Жизнь – игра, игра, в которой,
видно, выигрыша нет.
И сквозь трудных мыслей призму
шелухой слетает прыть...
О великом чуде – Жизни
надо тихо говорить,
сокровенными словами,
словно о любви,
о маме...



Петр Максимович Илюхин родился 11 июля 1926 года в селе Чегодаево на Орловщине. Участник Великой Отечественной войны, военный летчик I класса, подполковник в отставке. Свыше 15 лет преподавал в школах Тирасполя военную подготовку. В 1989-1992 гг. руководил Тираспольским литобъединением «Взаимость». Публиковался в периодической печати Приднестровья. В 1996 году посмертно (умер в 1992 году) вышла в свет единственная книга стихотворений и поэм Петра Илюхина «Внутренний голос». Также посмертно был принят в Союз писателей Приднестровья.

Петр Илюхин

Старый окоп

В чашобе лесной средь деревьев густых
Увидел окоп фронтовой,
Он был в тишине по-особому тих,
Заросший густою травой.
Укрыли его разноцветной каймой
Весенних цветов полушалки...
Но из-под них полыхнуло войной,
И кровью запахли фиалки.
Над этим окопом я долго стоял
В начищенном новом мундире,
Окопную былью себя выверял:
Так ли живу в этом мире?
Всегда ли готов, если в час роковой
Гроза над страной разразится,
Отрыть в полный профиль окоп фронтовой.
С врагами бесстрашно сразиться?.

Вдовьи слезы

Почтальон наш – подросток-девчонка –
Постучалась соседке в окно,
В онемелых руках похоронка,
Щеки бледные, как полотно.
Обомлела солдатка у двери,
О дубовый опершись косяк,
И в казенные строчки поверить
Не хотелось сердечной никак.
А потом, заливаясь слезами,
Безутешно рыдала она...

Не завьюжиться горю годами,
Вдовьи слезы не спишет война.
Успокаивал старшенький – Гриша,
Материнский рукав теребя:
«Будет, мамочка,...мамочка, слышишь,
Ты не плачь, я большой у тебя.
Помогать тебе буду повсюду,
За сестренкой соей присмотрю,
Щи сварю и помою посуду,
В день рожденья цветы подарю...»
Было Гришеньке десять с немногим,
Детских лет озорных полоса.
В свежих ссвадинах быстрые ноги,
Родниковая глаз бирюза.
Эта детская взрослость откуда?
Плоть отцовская в Грише и кровь.
И поверилось матери в чудо,
Что отец его жив и здоров.

Помни

Кровью мечен истории след.
Кто сказал, что Отечества нет?!
Вечной горечью память полна,
Позабыть бы, да снится война.
Сколько лет с той поры уж прошло,
Как свинцовой пургой отмело.
Миллионы погибших солдат
Никогда не вернутся назад.

Из-под плит, как живая ладонь,
К сердцу тянется Вечный огонь.
Тех, кого из огня не вернуть,
Не забудь, никогда не забудь.
Они с нами в жемчужинах рос,
Они с нами в печалях берез,
Колыбелях степных ковылей,
Колосках молчаливых полей.



Петр Александрович Шпаков родился 12 июля 1916 года в г. Смоленске. В 30-е годы окончил коммунально-строительный техникум и артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны с первых месяцев, дважды был ранен. После войны работал преподавателем в военных учебных заведениях, служил на разных должностях в войсках и штабах соединений и округов. Прослужил 30 лет в рядах СА. В звании полковника уволился в запас в 1970 году, награждён 20 боевыми орденами и медалями.

С того же времени проживал в Бендерах. Занимался общественной работой по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Печатался в периодических изданиях, журналах, коллективных сборниках Молдовы и ПМР. Петр Шпаков автор сборника рассказов «По приказу и без приказа» (1986г.), стихотворных сборников «Зов памяти» (1989г.), «Кантата мужеству» (1991г.) Умер П. А. Шпаков 8 июня 2001г.

Петр Шпаков

Медсестры

...Сгущаются тучи. Все ниже и ниже.
То стихнет, то вновь разгорается бой.
На грани переднего края все ближе,
Все яростней мечется смерть над тобой.
Тебе же дано – самой сутью, по долгу –
От смерти собою бойца укрывать,
Ползти под обстрелом мучительно долго...
Какой раз по счету?! Не время считать.
И каждая шла – и в жару, и в метели,
Где пылью свинцовой поземка мела,
С солдатским оружием, в солдатской шинели
Солдатскую долю на равных несла...

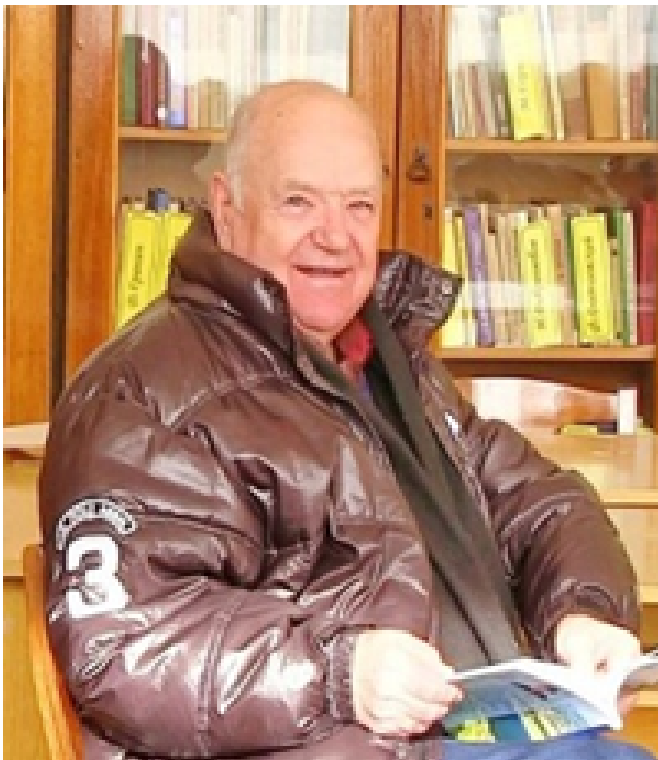
Чем дальше мы уходим от войны

Чем дальше мы уходим от войны,
Чем реже черный лик ее нам снится,
Тем явственней разливы тишины.
Тем многозвучнее напевы птицы.
...Был розов снег. Была седою пыль.
В свинцовой замети сирена выла...
И гарью пахнувший степной ковыль
Хлестал в лицо... Все это было...

У Вечного огня

Вечное пламя! Вечное пламя.
Видится огненных сопот гряда.
Видится пулей прошитое знамя,
То, что к победе несли мы тогда....

Пышные розы здесь клонятся низко,
Будто целуют могильный настил.
Сколько ж должно быть таких обелисков?!
Сколько еще безымянных могил?!



Виталий Дмитриевич Сайнчин родился 5 декабря 1942 года в селе Тымково Кодымского района Одесской области УССР. После окончания Тымковской средней школы поступил в Котовский техникум механизации (МССР). Далее – служба в армии. После увольнения в запас приступил к трудовой деятельности как специалист и организатор сельскохозяйственного производства. Несколько лет поэт жил и работал в России, в г.Великие Луки. Там у него открылся артистический дар. В местном драмтеатре Виталию Сайнчину довелось сыграть несколько серьезных драматических ролей. С 1990 года семья Сайнчиных проживает в г. Рыбница.

Стихи начал писать еще в школе. Увлекался творчеством Т. Шевченко, С. Есенина. Виталий Сайнчин является членом Союза писателей Приднестровья. Его произведения (стихи на русском и украинском языках) печатались в альманахах «Литературное Приднестровье», «Литературная Рыбница», республиканских газетах «Гомін», «Приднестровье».

Виталий Сайнчин

Губная гармошка

(автобиографическое)

В сорок четвертом, раннею весной,
Катился фронт победною волной.
Все это было будто бы вчера –
На Запад отступала немчура.
Понурился головы, колонны немцев шли,
Хваленых покорителей земли.
Когда остановились на привал,
В наш двор солдат немецкий забежал.
В шинели рваной, сбитых сапогах,
С тоской неповторимою в глазах.
Видно, держался из последних сил
Воды попить у бабки попросил.
Он во дворе мальчонку увидал,
На руки взял, к груди своей прижал.
И чувствуя перед людьми вину,
Наверное, в тот миг проклял войну.
Детей своих, припомнив, и жену,
Гармошку мне губную протянул.
...С тех пор прошло немало мирных лет –
Давно уже губной гармошки нет,
Но память возвращает ту весну
И детство, увидавшее войну.



Алла Антоновна Мельничук (14.10. 1952) родилась 14 октября 1952 года в селе Кирилловка Кодымского района Одесской области УССР.

В 1962 году семья переехала в село Кременчук Слободзейского района МССР. Высшее образование Алла Антоновна получила в Одесском государственном университете им. И. И. Мечникова на историческом факультете. Недолго работала в школе, с 1976 года – научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующей отделом истории Тираспольского историко-краеведческого музея.

В 1987 вместе с мужем и детьми переезжает на Чукотку, где работает учителем истории, обществоведения и географии в сельских школах, а также во Всесоюзном обществе «Знание» и райкоме партии.

В 1990 году вернулась в Тирасполь. В Тираспольском объединенном музее работала на разных должностях. В 1994 году стала его директором.

С конца 90-х годов публикует свои стихотворения в периодической печати Приднестровья. Алла Мельничук – автор гимна г.Тирасполь, за что была награждена медалью «Генералиссимус Суворов». В этом же году поэтесса выпускает первую книгу стихотворений «Хочу весну». В 2011 году выходит второй сборник стихотворений «По компасу света». В 2015 году стала одним из авторов книги «Музеи Приднестровья».

Алла Мельничук

ПОХОРОНКИ

Прилетали письма цвета белого,
Вести в них чернее цвета чёрного!
И платков таких же понаделали:
Вдовам несть числа в годину скорбную.

Ребятишки возле юбки маминой,
Слабые цыплята – несмышлёныши:
Станет жизнь для них сплошным экзаменом
Без руки отцовской и без помощи.

Им не в радость буйный цвет салютов,
Грохот ближе, словно залп прощальный...
В памяти навечно та минута,
И письмо, в котором извещали...

10 июля 2005

Однажды, много лет спустя,
Приду на поле бранной славы:
Многоголосно стонет пядь,
Разбита болью на октавы.

Почувствую последний взгляд:
Угасший, отразивший копоть,
Дымы, воронки канонад
И бурый бруствер у окопа.

Так много душ над полем тем
Плывут и реют общим стягом,
Укрыв, как флагом, сотни тел,
Полёгших верными присяге!

8 мая 2002

Они живут на наших площадях,
На улицах и тихих переулках,
Полёгшие в губительных дождях
Под грохот канонады утром гулким.

Легли тела в холодную постель
Рядами, разделив её по-братски,
Чтоб мирным стал Тираспольский апрель,
Но души здесь, над городом солдатским.

Над городом горячих вдовьих слёз,
Сиротски – одиноких детских судеб,

Огнями светят путеводных звёзд,
В дороге помогая многотрудной.

Сложились в Богородичный покров
Их души, охраняя южный город,
Живущий благотельным трудом...
И с ними те, кого привёл Суворов!

30 сентября 2003



Тамара Ивановна Базилевская родилась в украинском городке Синельниково Днепропетровской области 25 октября 1952 года в семье рабочих. В 1953г. семья переехала в Днепропетровск. В 1970-м году поступила в Днепропетровский инженерно-строительный институт. Получив диплом, работала инженером-конструктором в институте «Промстройпроект». В Рыбницу переехала в 1983 г. Работала на ММЗ в проектно-отделе инженером – конструктором металлоконструкций. На юбилей завода был объявлен конкурс текстов гимна завода – стала соавтором-победителем. Сегодня член Союза Писателей Приднестровья и активный участник ТО «Литературный Родник». Печаталась в периодических изданиях Приднестровья. Тамара Базилевская пишет на двух языках – русском и украинском. Неоднократно публиковалась в украинских и российских изданиях. Участвовала в литературных конкурсах Международного Фонда «Великий странник молодым» (ФОНД ВСМ) в России. Получала дипломы: 1 место – рассказ «Сонечка», 2-е место – стихотворение «Письмо Анне Андреевне Ахматовой», член жюри фонда ВСМ, неоднократный номинант конкурсов «Поэт года». Произведения Т. И. Базилевской вошли в книгу для детей «Солнечный дождик», изданную СП Приднестровья, также публиковалась в сборнике произведений писателей Приднестровья «Заветный Жар». Принимает активное участие в издании журнала «Открытые кавычки» ТО «Литературный Родник».



...Летом 1941-го Рыбница превратилась в настоящий ад. Только за один июльский день город выдержал 80 налетов немецкой авиации. Советские войска оставили Рыбницу 5 августа. – Памятник юному пионеру, как его еще называют, как раз связан с этим страшным временем. Рыбница уже была занята оккупантами, когда 11-летний Вова случайно обнаружил трёх раненых советских солдат в развалинах на окраине города. Несколько дней мальчик носил солдатам воду. Его выследили немцы, и сожгли в поле вместе со стогом сена, где ребенок спрятался.

Спасенные солдаты были так потрясены подвигом Вовы, что после войны возвратились в Рыбницу и установили памятник мальчику на улице Пушкина, на объездной дороге. Жаль только, что история подвига постепенно стерлась из памяти горожан. К тому же «беспризорный» мальчик не был принят городским хозяйством на баланс. Так и стоял всеми забытый Вова на улице Пушкина, пока не стал... участником ДТП. Памятник был сбит машиной и попал в Рыбницкий ОВД в качестве вещественного доказательства. Когда дело сдали в архив, встал вопрос: что же делать со статуей? Похоже, у нее не было хозяина: никто не забеспокоился после ее исчезновения с обычного места. Тогда «беспризорный» памятник решили приютить сотрудники Рыбницкого ОВД. Его установили рядом со зданием милиции.

Баллада о мальчике Вове

...Год сорок первый. Август, лето.
Победно немцы шли вперед,
еще никто не знал о «гетто» –
война же только первый год.
Кружились в небе самолёты,
кроша у речки берега,
а три солдата из пехоты
в руинах скрылись от врага –
задели их шальные пули,
дышали хлопцы кое-как
и от бессилия уснули,
зажав оружие в руках.
Их рота яростно сражалась,
но был неравным этот бой,
и, отступая, оказалось –
не взять им раненых с собой...
Так и остались три солдата
в разбитом доме смерти ждать,
но, видно, было рановато
парнишкам этим умирать.

Бродил в развалинах мальчишка
и вдруг услышал чей-то стон
и шепот: потерпи, братишка,

и кашель – стону в унисон.
Принес им Вова хлеба корку
и из реки набрал воды,
из сада – яблок красных горку,
из дома – простынь на бинты.
И никому, нигде, ни слова –
никто о раненых не знал.
Помог солдатам выжить Вова,
но даже маме не сказал.

Однажды нес мальчишка воду
из речки в банке для солдат,
и преградил ему дорогу
в немецкой форме комендант.
Как знал мальчишка! И сегодня
маршрутом прежним не ходил,
и на колхозные уголья
он побежал, что было сил.
Он в стог зарылся вместе с банкой
и затаился, не дышал,
ему вдруг стало жарко-жарко,
и он от боли закричал.

Под сенью старого каштана
у райотдела МВД
застыл мальчишка у фонтана,
склонившись с флягою к воде.
После войны три офицера
скульптуру эту привезли
мальчишке Вове, пионеру,
тому, которого сожгли...



Игорь Ростиславович Ильин родился 23 ноября 1924 года в с. Пушкино (сейчас г. Пушкино) Пушкинского района Московской области. Отец был известным почвоведом и геологом, мать – преподавателем иностранных языков. Детство проел под Москвой, затем за Уралом.

Отца лишился в 1937 году. Работать пришлось с детства. Официальный трудовой стаж начался в 16 лет с работы грузчиком костромском маслозаводе. В 1942 г. окончил 10 классов и курсы комбайнеров. Работал в МТС и колхозах Костромской области. В 1942 г. поступил в Ивановский сельскохозяйственный институт. После окончания 1-го курса, в июле 1943 г. был призван в Красную Армию и направлен в военную школу младших авиационных специалистов (г. Переславль-Залесский Ярославской области).

Окончив школу в ноябре 1943 г. 2 месяца Ильин прослужил мотористом в запасном авиационном полку (г. Арзамас Горьковской области). В феврале 1944 г. прибыл в Тулу, в 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Сражающейся Франции» «Нормандия» и был зачислен мотористом во вторую эскадрилью «Гавр». Вскоре полк за участие в форсировании реки Неман, получил наименование «Нормандия-Неман».

День Победы встретили в Эльбинге (сейчас Эльблонг, Польша). После расформирования полка был переведен в Управление 303-й авиационной дивизии. Служил во взводе охраны, затем помощником начальника дивизионной электростанции.

Демобилизовался И. Р. Ильин в звании сержанта технической службы и в 1946 г. Вскоре поступил в Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. Совмещал учебу с работой. Окончив Академию с отличием, работал младшим научным сотрудником и директором Экспериментального хозяйства (!952-1955гг.) этого же

института. Принимал активное участие в комсомольской работе. С февраля 1954 г. – член КПСС.

В 1955–1958 гг. учился в аспирантуре Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова (г. Москва). Работал заведующим группой агрофизики и редактором научных изданий Молдавского научно-исследовательского института орошаемого земледелия и овощеводства, затем Приднестровского НИИ сельского хозяйства (1961-2009гг.). Кандидатскую диссертацию защитил в 1960 г.

В Тирасполе был председателем общества «Знание», председателем Тираспольского отделения Молдавского филиала Совета Всесоюзного общества почвоведов АН СССР. Принимал участие в проведении мероприятий, посвященных истории полка «Нормандия-Неман». Участвовал во встречах однополчан, посвященных 25-летию (1967г.) и 40-летию (1982г.) полка.

И. Р. Ильин награжден государственными и общественными орденами и медалями СССР, России и Франции. Среди них: Орден Отечественной войны II степени; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; медаль «За взятие Кёнигсберга»; медаль «Ля Рикамари». Он кавалер ордена Почетного Легиона ФР. Отмечен наградами и памятными знаками за трудовую и общественную деятельность в МССР и ПМР.

Публиковался в периодических изданиях и Альманахах РФ, Молдовы, Украины, ПМР. И. Р. Ильин автор трех стихотворных сборников: «Дорога сквозь годы», «Вехи жизни», «Последние аккорды», объединивших более 800 стихотворений, мемуаров «Дороги фронтовые».

Игорь Ильин

Из книги «Дороги фронтовые»

Рождение «Нормандии»

*Мы – дети страшных лет России –
забыть не в силах ничего.*

А.А. Блок, 1914

Ровно за год до нападения гитлеровской Германии на СССР разгром Франции был завершён (И.Р. Ильин 2003д, И.Р. Ильин, 2013). Предательское правительство, сформированное маршалом Петеном в городе Виши, подписало условия капитуляции. Но не все французы примирились с порабощением своей Родины. Подпольный Центральный комитет французской компартии 7 июня 1940 года в своем обращении к народу предложил превратить войну с Германией в «народную войну за свободу и независимость Родины». 18 июня председатель Национального комитета «Свободной Франции» генерал Шарль де Голль (1890-1970) по лондонскому радио обратился с воззванием ко всем французским военнослужащим. Так родилось «Движение сопротивления». Оно находило широкую поддержку. 24 сентября 1941 года в Лондоне был создан «Французский Национальный Комитет Освобождения», объединивший французских патриотов – борцов с фашистскими захватчиками. Через два дня, 26 сентября, Советское правительство признало его председателем, генерала де Голля, «руководителем всех французов, где бы они ни находились», поддерживающих антигитлеровскую коалицию. Ему подчинялись некоторые воинские части, находившиеся на территории Англии, в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке. В июле 1942 года «Свободная Франция» получила новое название – «Сражающаяся Франция».

В конце 1941 года Советское правительство и Национальный Комитет Освобождения начали переговоры о совместной борьбе с фашистской Германией. Де Голль предложил послать в распоряжение командования Красной Армии французскую пехотную дивизию с полным комплектом вооружения, запасом снарядов и патронов, орудиями, танками и грузовиками. Советское правительство сразу же согласилось, Англия на словах – тоже, но сделала всё, чтобы не допустить этого. Не нужно было ей укрепления со ветско-французских отношений.

Характерная деталь – правительство США игнорировало Национальный Комитет Освобождения и поддерживало дипломатические отношения с предательским правительством Виши.

30 марта 1942 года де Голль выступил с новым предложением – послать в СССР группу французских авиаторов. На следующий день согласие Советского правительства было получено. Формирование группы добровольцев поручили майору Жану Луи Тюляну, лейтенанту Альберу Литольфу и капитану Жозефу Пуликэну, который вскоре был назначен ее командиром.

Местом формирования авиагруппы выбрали авиационную базу Райяк в Сирии (сейчас это территория Ливана).

В Англии было немало противников сближения Франции с СССР. Приходилось преодолевать их сопротивление. Наконец, после бесконечных проволочек, к 1 сентября 1942 года авиагруппу сформировали. Назвали ее «Нормандией» в честь одноименной провинции Франции. Эмблемой авиагруппы стал рыцарский щит красного цвета с двумя золотыми львами, похожий на герб этой провинции (В.А. Горецкий, 2007).

Желающих попасть на советско-германский фронт оказалось больше, чем требовалось, хотя наша страна переживала труднейшее время. Судьба Сталинграда еще не была решена. Тогда мало кто даже среди наших друзей на Западе верил в победу Красной Армии. Тем не менее, добровольцы, порой самыми неожиданными путями, прибывали в СССР из Англии, Сирии, Северной Африки и с Мадагаскара.

Жюля Жуара направили в качестве парламентаря в Дакар (Западная Африка). Парламентар был арестован и под конвоем отправлен во Францию. Выйдя на свободу, он вернулся в Англию и оттуда прибыл в Россию.

Константин Фельдзер бежал из петеновской тюрьмы, чтобы попасть в «Нормандию». О дорожных приключениях Пуйяда, Альбера, Лефевра, Дюрана, де Жоффра, де Сейна и Эйхенбаума рассказано в посвященных им очерках. Этот перечень можно было бы дополнить именами Муане, Баньера, Лебра, Риссо и других летчиков, но и сказанного достаточно, чтобы показать стремление лучших представителей Франции драться с фашистами.

За шестнадцать дней, с 12 по 28 ноября 1942 года, командир – уже майор – Жозеф Пуликэн, четырнадцать летчиков, сорок техников и шесть штабных офицеров на трех транспортных самолетах, поездах и грузовиках преодолели путь от авиационной базы Райяк через Багдад (Ирак), Басру (Ирак) и Тегеран (Иран) до России. Главный штаб Военно-воздушных сил (ВВС) СССР 25 ноября завершил организацию эскадрильи своей директивой. 29 ноября эскадрилья прибыла на место постоянного базирования – аэродром недалеко от г. Иванова.

Французам предоставили на выбор все типы истребителей, бывших на вооружении Красной Армии, в том числе английские и американские. Они предпочли наш Як-1 и потом не раскаивались в своем выборе.

Освоение новой техники шло в быстром темпе. В январе 1943 года начались самостоятельные полеты, а 11 марта инспекторская проверка установила, что эскадрилья готова к боям. Высший класс техники пилотирования показал майор Жан Луи Тюлян.

Работа «Нормандии» заключалась в сопровождении и охране штурмовиков Ил-2 и пикирующих бомбардировщиков Пе-2, летавших громить наземные части противника.

Командиры «Нормандии»

Авиационная карьера Жозефа Мари Пуликэна началась в ноябре 1917 года (И.Р. Ильин, 2002а). После Первой Мировой войны он, в основном, заведовал отделами

объявлений различных газет. Вторая Мировая война застала его на родине, в городе Сент-Мило. Узнав о призыве де Голля, он решил вернуться на авиабазу в центре сирийской пустыни, где закончилась его военная служба, и предложил одной из лионских газет командировать его в Африку для подготовки серии репортажей. Получив надежные документы, Пуликэн с большим трудом, через Алжир, Дагомею, Того, Гвинею, Либерию, Чад, Судан и Египет добрался до Ливана, в котором находился штаб Военно-воздушных сил «Свободной Франции». Его включили в истребительную эскадрилью «Эльзас» и поручили формирование авиагруппы для отправки в СССР. Майор Пуликэн успешно справился с этой весьма ответственной задачей и возглавил авиагруппу. Трех летчиков он подобрал сам – это были будущие «мушкетеры» Марсель Альбер, Марсель Лефевр и Альбер Дюран. По их рекомендации летчиками эскадрильи стали Дидье Бегэн, Ив Бизьен, Раймонд Дервиль, Ноэль Кастелэн, Альбер Литольф, Ив Майе, Жан де Панж, Андрэ Познански, Альбер Прециози, Ролан де ля Пуап, Жозеф Риссо и Жан Луи Тюлян, а также переводчик Мишель Шик и врач Жорж Лебединский (кстати, оба русские, эмигрировавшие во Францию). На общем счету у отобранных летчиков уже было 19 сбитых немецких самолетов.

В ноябре 1942 года авиагруппа прилетела на аэродром возле г. Иванова; начались тренировочные полеты, но первый вылет Пуликэна не состоялся – при выруливании на взлет острой болью напомнила о себе старая рана. Понимая, что командир эскадрильи не может не летать, он написал соответствующий рапорт генералу Э. Пети, главе Французской военной миссии в Москве.

22 февраля 1943 года Пуликэн сдал подготовленную к будущим боям эскадрилью майору Тюляну и был переведен на службу в авиационную группу «Лотарингия», базировавшуюся в Англии.



Командир эскадрильи «Нормандия» майор Жан Луи Тюлян

...Жан Луи Тюлян с детских лет мечтал об авиации. Его отец начал летать во время Первой Мировой войны, после ее окончания погиб при авиационной катастрофе. Авиаторами были и два брата отца. Тюлян окончил летную школу и военное училище в Сен-Сире в Версале.

В 1940 году он командовал эскадрилей в Райяке (Сирия), тогда еще подчинявшемся правительству Виши. 5 декабря он перелетел в Палестину и создал там эскадрилью «Эльзас». Она вошла в состав Вооруженных сил «Свободной Франции» (с июля 1942 года «Сражающаяся Франция»).

Во время одного из патрульных полетов он заставил приземлиться фашистский транспортный самолет с шестью итальянскими генералами. 28 ноября 1942 года майор Жан Луи Тюлян в составе авиагруппы «Нормандия» прибыл в СССР.

Превосходная военная выправка, четкость, собранность, аккуратность, опыт воздушных боев в Сирии, отличные летные характеристики решили его судьбу – он с 22 февраля 1943 года заместил командира эскадрильи.

В конце марта 1943 года Тюлян и Литольф, знакомясь с районом полетов, долетели до линии фронта. Здесь «Нормандии» летать пока еще не разрешали. Французы хотели вернуться на аэродром, но встретили четырех «Мессершмиттов». Двоих подбил Литольф, одного сбил Тюлян, четвертый покинул поле боя.

На командный пункт воздушной армии поступило сообщение о сбитом самолете. Оттуда запросили истребительные дивизии и полки, но никто из их летчиков в этом районе боя не вел. Бомбардировочную дивизию, в состав которой входила «Нормандия», не запрашивали, а Тюлян, нарушивший запрет командования летать над линией фронта, о своей победе промолчал.

Генерал-майор Г.Н. Захаров очень тепло вспоминал о Тюляне: «Как летчик-истребитель Тюлян был выше всяких похвал. Он привлекал всех своим обаянием, любовью к авиации, неукротимым бойцовским духом. Машины и полеты – это было для него всем. Тюлян был летчиком по духу, в этом была вся его жизнь».

Пьер Пуйяд знал Тюляна с 1930 года. Они вместе учились в Сен-Сире и Версале. Вот как он характеризовал своего друга и командира: «Когда я встретил его в Хатёнках, он был всё тем же человеком, полным благородства, и прирожденным истребителем. Его нельзя было вообразить в другой роли. Он умел заражать боевым духом всю нашу маленькую группу... Жил на самом аэродроме, в двадцати метрах от своего Яка, а не в Хатёнках. Когда нас в три часа утра привозили к самолетам, мы находили его свежим, по-прежнему неутомимым, не знающим ни физического, ни нервного утомления. Он прилетал – улыбающийся, отдохнувший. И вроде бы снова готов был лететь. Когда наступление было в разгаре, он завидовал тем, кто в нем участвовал, и казался несчастным, когда бои утихали. У него снова поднималось настроение, когда приходилось летать по три-четыре раза в день. Он даже просил перевести его в другой сектор, когда бои шли в других секторах, а у нас еще было затишье, и он опасался, что это затишье – надолго... У него была репутация безрассудно смелого и удачливого летчика... Мой давний знакомый Пуликэн не ошибся в выборе, передал эскадрилью в надежные руки».

17 июля 1943 года в 17 часов 10 минут группа из девяти истребителей Як-1 под командованием майора Жана Тюляна в четвертый раз за этот день вылетела в район Знаменского для прикрытия штурмовиков, наносивших удар по колоннам противника, двигавшимся по дороге Болхов – Орел. В завязавшемся воздушном бою с немецкими

истребителями лейтенант Альбер Прециози и младший лейтенант Марсель Альбер сбили один «Фокке-Вульф-190». Отражая атаки более тридцати вражеских истребителей, летчики полка видели в последний раз самолет своего командира, майора Жана Тюляна, когда он набирал высоту. Майор Жан Тюлян пропал без вести. Командование эскадрилей принял Пьер Пуйяд, получивший к этому времени звание майора.

...Капитан Пьер Пуйяд в 1940 году командовал эскадрилей в Ханое. Французские военные базы в Индокитае были переданы правительством Виши, по соглашению с Гитлером, в распоряжение Японии, и французские части вели вместе с японцами совместные боевые действия против Китая, что вызвало протест Пуйяда. Он решил покинуть Ханой и полетел в Чунцин, столицу гоминдановского Китая, но бензин кончился. Приземлился он более или менее удачно, оставил самолет и продолжил путь через джунгли и горы пешком. В лохмотьях, искушенный насекомыми, обессиленный тропической лихорадкой, истощенный от голода, добрался он до Чунцина. Представитель Франции, только что перешедший на сторону де Голля, помог ему уехать в США – другого пути в Англию не было. В Лондоне Пуйяду предложили штабную работу, но он через Каир и Иран прибыл в «Нормандию» 9 июня 1943 года.



Командир полка «Нормандия» майор Пьер Пуйяд

После прибытия большой группы французских летчиков эскадрилью реорганизовали в полк. С 17 июля 1943 года в течение восемнадцати месяцев «Нормандию» возглавлял майор, затем подполковник Пуйяд. Под его руководством полк одержал свои основные победы и получил наименование «Неманский».

Под Тулой в это время формировали французскую авиадивизию в составе бомбардировочного и двух истребительных полков. В нее были направлены ветераны «Нормандии» Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап и Жозеф Риссо. Возглавить ее поручили Пуйяду, поэтому командование полком он передал майору Дельфино 12 декабря 1944 года. Но создать дивизию, как известно, не успели – война закончилась.

«Нормандия-Неман», лауреат Международной Ленинской премии за укрепление дружбы между народами генерал Пьер Пуйяд скончался 5 сентября 1979 года.

...28 февраля 1944 года в Тулу прибыла группа добровольцев во главе с майором Луи Дельфино. Предполагалось, что он будет командиром второго французского авиационного полка «Париж», но летчиков было недостаточно, и всю группу включили в состав «Нормандии». Дельфино назначили заместителем командира полка. В первых же воздушных боях он доказал, что командование в нем не ошиблось.

По словам генерала Захарова, Дельфино летал подчеркнуто строго. Все фигуры, все элементы полета выполнял безукоризненно четко, ровно, академически корректно, не допускал никаких импровизаций, отклонений от заданной программы.



Командир полка «Нормандия-Неман» майор Луи Дельфино

На земле для него были характерны выдержка, бесстрастность, сдержанность, пунктуальность, быстрота при выполнении заданий, давняя привычка к строгой самодисциплине. Всё это он требовал и от подчиненных. Ветераны полка, прошедшие бои 1943 года, были недовольны, но хладнокровие и бесстрашие в бою помогли ему завоевать авторитет. Его победы в воздушных боях были отмечены высокими советскими и французскими наградами.

Блестящие успехи полка на заключительном этапе войны в значительной степени связаны с освоением тактики группового воздушного боя, широко применявшейся в советской авиации. Дельфино, опытный инструктор, настойчиво внедрял ее в практику на протяжении всего времени своего пребывания в полку. Решающую роль сыграли его настойчивость, целеустремленность и железная воля. На счету у Дельфино 16 сбитых немецких самолетов.

Во времена «холодной войны», выступая с высокой трибуны перед соотечественниками, инспектор Военно-воздушных сил Франции Луи Дельфино заявил:

– До прибытия в Советский Союз я о многом думал и рассуждал так же, как и вы. Но я был в этой стране в самое тяжелое время. Я прошел боевой путь борьбы с фашизмом вместе с советскими людьми. Я полюбил их. Я знаю их силу и силу их оружия. И я клянусь Всевышним, что никогда не подниму против них руки, и вас к этому призываю!

Немногие зарубежные политики в то время так трезво смотрели на происходящие события. Генерал армии, генеральный инспектор Военно-воздушных сил Франции Луи

Дельфино скончался в Париже 11 июня 1968 года. Четыре замечательных патриота Франции все силы вложили в нашу общую победу над врагом всего прогрессивного человечества. Их имена останутся в истории.

Помнить и дружить



Париж, 11 февраля 1983 года

История полка «Нормандия-Неман» не окончилась после завершения Второй Мировой войны. Систематический обмен делегациями, проведение совместных мероприятий в СССР и Франции стали твердо установившейся традицией (И.Р. Ильин, 1983). Наиболее крупным и, на мой взгляд, самым значительным событием послевоенных лет стал франко-советский коллоквиум, посвященный 40-летию победы под Сталинградом и прибытию в СССР первых летчиков эскадрильи «Нормандия» (Париж, 8-17 февраля 1983 г.).

Этому знаменательному событию для меня предшествовала длительная (13.12.1982 – 3.02.1983) процедура оформления выездных документов (Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами в Москве, соответствующая инстанция в Кишиневе, детальное медицинское обследование, характеристика Института и райкома партии, и снова Кишинев).

7 февраля встретились все восемнадцать членов нашей делегации: три военных историка (глава делегации академик АН СССР, директор Института военной истории генерал-лейтенант П.А. Жилин, полковники запаса, фронтовики О.А. Ржешевский и И.А. Чельшев), Герой Советского Союза генерал-майор Г.Н. Захаров, директор московской школы № 712 Е.А. Бордукова (в этой школе тогда находился самый крупный в СССР музей «Нормандии»), фронтовой летчик писатель Ю.М. Гальперин, четверо нормандцев и восемь сталинградцев.

Сотрудник Министерства иностранных дел рассказал о политической обстановке во Франции. Глава республики – Ф. Миттеран, лидер Социалистической партии, в правительстве четыре коммуниста. Президент проводит политику социально-

экономических преобразований. За двадцать два месяца нахождения у власти левого правительства повышены пенсии, налоги с богатых; минимальная зарплата – 3100 франков в месяц, установлена 39-часовая рабочая неделя, национализированы крупные монополии и банки. 90% банков и 30% промышленных предприятий находятся в государственном секторе. Борьба правых и левых сил обостряется. Главные проблемы страны – безработица и инфляция. Компартия на последних выборах в парламент потеряла половину депутатских мест. Избиратели склоняются вправо. Проводится систематическая антисоветская кампания в прессе, по радио и телевидению. Французский язык в СССР изучают 10% советских школьников, русский язык – 0,4% французских школьников.

П.А. Жилин рассказал, что Ф. Миттеран из крестьянской семьи, он три раза бежал из фашистских концлагерей, отношения с США у него очень натянутые.

Мы едем по приглашению Общества «Франция – СССР».

Коллоквиум пройдет на государственном уровне.

8 февраля мы заранее приехали в международный аэропорт Шереметьево-2. Г.Н. Захаров рассказал об организации отбора наших летчиков для войны в Испании, о воздушном бое, когда он оказался в кольце из двенадцати вражеских самолетов. В Испании погиб каждый шестой из бывших там 3600 советских летчиков, танкистов и артиллеристов, а в СССР в 1937 году погибли почти все вернувшиеся из Испании летчики... Начинается посадка. Сдав чемоданы в багаж, пройдя проверку паспортов и таможенный досмотр (содержимое портфеля хорошо видно на телевизионном экране), мы вступаем на наклонный бесступенчатый эскалатор и через две минуты – в самолете ИЛ-62, рейс Токио – Москва – Париж.

Прошло чуть больше трех часов, и мы во Франции. Почти девять дней пробыли мы здесь, но наблюдений, фактов, впечатлений, мыслей – одним словом, информации так много, что всю ее на бумаге изложить невозможно. Всё же я стремился к этому, отлично понимая, что многое будет интересно не всем. Мне же было очень интересно все – встречи, разговоры, обстановка в отелях, внешний вид и поведение людей, цены на товары, доклады и сама атмосфера коллоквиума, памятники, музеи, Париж и другие города Франции, предгорья Альп, жизнь страны, в которую мы вошли, образно выражаясь, с парадного входа и не были дальше гостиной. Даниил Гранин (1983) писал, что «...мы совсем не замечаем своего быта. А писатели прошлого тщательно его описывали. Из книг можно было узнать и о ценах, и о том, что читали, что ели».

Источниками информации служили, прежде всего, личные наблюдения, а также обмен мнениями с коллегами, рассказы двух гидов-переводчиц (по Парижу и во время поездки по Франции), сотрудников советского посольства, советских журналистов, членов общества «Франция-СССР», советских людей, временно или постоянно живущих во Франции, сопровождавшего нас в поездке по Франции профессора истории Жана Триомфа (бывший заместитель заведующего отделом приземления и парашютирования французского «Сопротивления» лшв районе Рон-Альпы-Веркор, бывший заместитель пресс-атташе посольства Франции в СССР, один из руководителей общества «Франция-СССР», и газетные материалы. За достоверность всего увиденного ручаюсь я,

за достоверность услышанного – мои собеседники. Я не психолог и не могу утверждать с полной гарантией, но все же полагаю, что они говорили искренне, то, что думали. Разговоры были вполне откровенными, почти все – дружественными, от нас не скрывали ни плюсов, ни минусов жизни страны и ее народа.

Всю информацию, содержащуюся в моем неопубликованном очерке «Девять дней во Франции» (80 страниц машинописи), изложить здесь невозможно, ограничусь самым интересным.

Мы в аэропорту «Руасси – Шарль де Голль». Он напоминает «Шереметьево-2», но наклонных галерей с бесступенчатыми эскалаторами здесь много больше, они пересекают громадное здание во всех направлениях. В течение примерно получаса, пока мы ожидаем багаж и оформляем документы, нет ни одного самолета, кроме нашего, и здание кажется совсем пустынным. Таможенный досмотр не проводится. Чиновник в униформе принимает мою полицейскую карточку, заполненную на французском языке, мельком просматривает паспорт, бросает на меня мимолетный взгляд, возвращая паспорт, – и все формальности окончены. Наша переводчица и гид В.К. Пэкэ, литовка лет сорока, привезенная родителями из Литвы после войны, ждет нас около автобуса. На протяжении двадцати девяти километров, отделяющих аэропорт от Парижа, мы почти не отрываемся от окон, но внимательно ее слушаем.

По площади Франция уступает Украине на 9%, по количеству населения несколько превышает ее. Площадь Парижа 10,5 тыс. га, общая длина улиц 1130 км, его окружает кольцевая магистраль длиной 36 км. В 1932 г. в столице жило около трех миллионов человек, в 1975 г. – 2,3 млн., в 1982 г. – 2,2 млн. С 1933 по 1976 год ежегодная убыль населения составляла, в среднем, шестнадцать тысяч человек, а за последние семь лет – по девятнадцать тысяч. Около девяти миллионов человек из пятидесяти четырех миллионов жителей страны сосредоточено в Парижской агломерации (зона вокруг города радиусом 20-70 км). Сюда, в основном, и переселяются парижане. Причины – серьезные жилищные и транспортные проблемы, спад экономической активности, ухудшение медицинского обслуживания и рост преступности.

Город разделен на двадцать округов. Аристократический шестнадцатый округ расположен рядом с Булонским лесом, студенческий Латинский квартал – это округа пятый и шестой. Есть округа, населенные французами и арабами, где вечером опасно выходить на улицу, и есть чисто арабские округа, где вечером выходить на улицу нельзя. Справа от нас коммунистический пригород Парижа Сен-Дени, знаменитый церковью XII-XIV веков и гробницей французских королей. По каналу ходят сухогрузы. Слева от нас кладбище Сен-Тоун и железная дорога, соединяющая город с аэропортом. Еще не поздний вечер, половина десятого местного времени всего, но в Сен-Дени мы не встречаем ни одного пешехода.

Через Ворота Майо въезжаем в Париж. Разумеется, этих ворот, как и Красных ворот в Москве, давно уже нет. Едем по самому широкому из когда-либо виденных мной, великолепному проспекту – Елисейским полям. Освещение и реклама нахально в глаза не лезут, но внимание на себя обращают. Это очень далеко от того, что можно увидеть в

некоторых советских кинофильмах о капиталистических странах. Такова вся французская световая реклама в целом.

Проезжаем мимо Президентского (Елисейского) дворца и красиво подсвеченной Триумфальной арки, строить которую начал еще Наполеон. Сзади остаются обелиск на Площади Согласия, театр Баро и Мадлен Лено, парк Тюильри, мост через Сену, Национальное собрание (парламент Франции), Бурбонский дворец, мост Александра III, справа вдалеке Эйфелева башня. Едем по бульвару Сен-Жермен, сворачиваем на бульвар Распайль и останавливаемся у четырехзвездочного отеля «Кэрэ».

Без предъявления паспортов и заполнения листков прибытия получаем ключи. Я предлагаю сразу же пройтись по Парижу, сейчас всего десять часов, но, оказывается, всем, кроме нас с В.П. Деревянко, необходимо отдохнуть, хотя в Москве еще восемь часов вечера.

Четырехместный лифт поднимает нас на пятый этаж семиэтажного здания. Входим в двухместный номер неправильной формы высотой около четырех метров и площадью 20-25 квадратных метров. Ковровый пол, стены обиты синим бархатом. Сплошное изголовье высотой около восьмидесяти сантиметров очень широких и удобных кроватей диванного типа, как и почти вся мебель, темно-красного цвета с довольно красивыми белыми пятнами. Два легких мягких кресла, около кроватей две тумбочки, на них массивные настольные лампы, встроенный в стену зеркальный шкаф без места для головных уборов, большой письменный стол, над ним красивое восьмигранное зеркало, рядом – шестипрограммный черно-белый телевизор, пейзаж размером 30х60 сантиметров на стене (морской залив с парусными лодками), четыре тусклых светильника на стенах (но читать при их свете все же можно), телефонный аппарат и шесть набранных петитом томов телефонных справочников Парижа общим весом около десяти килограммов. Температура 22-25°C, к миниатюрной десятиреберной батарее больно прикоснуться. Красивый и удобный кран на батарее позволяет регулировать ее температуру. На дверях висит этикетка с указанием стоимости проживания в номере – 451 франк в сутки за двоих, немного меньше за одного. Совмещенный санузел площадью примерно 2х4 квадратных метра, встроенная ванна во всю ширину помещения, гибкий шланг с душевой насадкой, коллекция из семи полотенец, розетка на 220 вольт, ленты из специальной бумаги для чистки обуви, тюбики шампуня и мыло в красивых обертках, такая же миниатюрная и жаркая батарея с краном и прочее необходимое в таком месте – все сверкает великолепной белизной.

Как выяснилось впоследствии, во всех отелях, где мы останавливались, всё постельное белье сшито из тонкого полотна, его и полотенца меняют ежедневно, даже если каким-либо не пользовались.

Все это мы разглядывали потом, а сейчас, положив чемоданы на специальный металлический столик, выходим бродить по Парижу. Подходим к дверям отеля, они автоматически раздвигаются, и по бульвару Распайль выходим на бульвар Сен-Жермен. На углу магазин с дарами моря – всевозможные рыбы, устрицы и многое другое. Магазин закрыт, но в лотке возле него товар лежит без видимой охраны. Через каждые двадцать – сто метров бары и кафе, в некоторых только гарсон (официант), в других четыре – восемь

посетителей. Пожилых людей нет. Сидят по двое за столиком (он и она), перед ними бутылка вина или пива, две рюмки, курят и разговаривают, никуда не спешат.

Прохожих мало (человек двадцать – тридцать за два часа), полицейские в кепи, двое в каких-то несурзных шляпах, остальные без головных уборов, хотя при нуле градусов медленно ходить в наших легких плащах холодно. Масса магазинов с ярко освещенными витринами, заполненными товарами. К каждому образцу по диагонали прикреплена этикетка с ценой, часто оканчивающейся цифрой 9, 119, 199, 299 и т.д. франков.

Наш путь лежит в Латинский квартал. Бульвары Сен- Жермен и Мишель приводят нас к каналу шириной метров шестьдесят, затем к Сене. Ее ширина восемьдесят-восемьдесят пять метров, течение стремительное, волны накатываются одна на другую, хотя ветра нет; чувствуется близость Альп. Подходим к Дворцу правосудия; это целый квартал с чугунными решетками и воротами, с подсветкой и полицией.

Один из прохожих, лет тридцати, волосы до плеч, в поношенном пальто, обращается к нам с какой-то просьбой. Судя по тону и выражению лица, это не профессиональный нищий, ему очень неудобно, он спешит объяснить нам что-то. Поняв, что мы не знаем французского языка, он поспешно отходит в сторону. Видимо, не каждому безработному хватает пособия на жизнь...

9 февраля. Завтракаем в отеле. В небольшом помещении восемьдесят четырехместных столиков. Вежливая негритянка никогда не забывает поздороваться с нами и спросить – чай или кофе? Меню – стандарт, неизменный для всей Франции: очень пышные булочка и рогалик общим весом граммов сто пятьдесят, две десятиграммовые пачечки сливочного масла в красивых обертках, два кусочка сахара, упакованные в виде костяшки домино, одна или две тридцатиграммовые пластмассовые баночки фруктового джема.

Во Франции около двадцати миллионов легковых автомашин, – в среднем, по одной на семью. Гаражи сейчас строят под всеми новыми домами. Небольшие улицы с обеих сторон заставлены машинами, наш автобус с трудом пробирается по оставшемуся коридору.

На улицах много частных автоколонок – тумбочка с автоматом для монет и шланг с заправочным пистолетом, все остальное под асфальтом. Мотоциклистов и мопедистов больше, чем в Москве. Мотоциклы, мопеды и даже велосипеды, как и автомашины, ночуют на улицах. По бокам багажника обычно приторочены две вместительные сумки. Есть четырех-шестицилиндровые японские мотоциклы, они дороже автомашин. На некоторых улицах Парижа нанесены зеленые линии – велосипедные зоны.

В Музее Освобождения нас принимает Великий Канцлер Ордена Освобождения генерал армии Симон. Этот орден учредил де Голль. Получили его немногим более тысячи человек и около двадцати воинских частей, в том числе полк «Нормандия- Неман», поэтому ему в музее отведена отдельная комната. На большом стенде фотографии ста восьми французов-нормандцев. Среди экспонатов знамя полка, оружие, предметы одежды и эки- пировки, карты, документы и многое другое. Орденом Освобождения были награждены Рузвельт, Черчилль, король Марокко и еще два-три руководителя

дружественных Франции стран. Сталин принципиально не принимал зарубежных орденов. Музей расположен в Доме Инвалидов. В давно прошедшее время здесь жили около пяти тысяч инвалидов войн, на большой площади перед зданием они выращивали картофель и овощи для своего стола. Здесь же находится гробница Наполеона. Прием по традиции заканчивается шампанским с гренками и соленым арахисом. Обедаем в отеле. Суп с шампиньонами весьма аппетитен. На второе что-то мясное, очень сытное. Бутылка легкого сухого вина Божоле на двоих совершенно не туманит голову. На третье – несколько сортов сыра, на выбор. Завершают обед обычно яблоки, груши или бананы.

После обеда едем на холм Мон Валерьен, к памятнику Ордена Освобождения. Строится воинский оркестр. Возложив венки, входим в усыпальницу. Там стоят пятнадцать саркофагов с останками выдающихся Кавалеров Ордена Освобождения – французов и представителей бывших колоний Франции. Шестнадцатый саркофаг пока пустой. В нем будет похоронен последний из ныне живущих трехсот пятидесяти Кавалеров этого Ордена.

Приглашение на прием в Министерство ветеранов войны красиво напечатано на фирменной открытке министра. Как и все последующие приемы, он начинается с выступления хозяина.

Директор Министерства (по местным масштабам, этот пост выше заместителя министра) передает нам сожаление своего шефа, которому срочно потребовалось ехать в Мец, коротко обрисовывает роль Сталинградской битвы и полка «Нормандия-Неман». Он рассказывает, как, будучи солдатом, с 1939 года находился в лагере для военнопленных, слушал по радио о разгроме немцев под Сталинградом. Радиоприемник они собрали в лагере, по его выражению, «из хлама». На его глазах таяла у фашистов вера в победу. В заключение он желает нам успехов в борьбе за мир, укрепления дружбы наших народов и всех прочих благ. Характерная деталь: наши фронтовики, побывавшие в плену, стыдятся этого, а французы рассказывают о пребывании в лагерях для пленных так, как будто это тоже была борьба с фашизмом.

Такие случаи приходилось наблюдать неоднократно. После выступлений обмениваемся подарками. Здесь и в других городах Франции мы вручали буклеты о Сталинградской битве и книги о Волгограде на русском и французском языках, настольные медали и альбомы полка «Нормандия-Неман» на двух языках, значки Волгограда и «Нормандии», открытки и конверты, выпущенные к различным юбилейным датам полка, сувениры. Нам вручали медали, прекрасно изданные буклеты и книги о разных городах Франции, значки, различные сувениры, вина и коньяки в подарочном оформлении.

После окончания торжественной части всех приглашают к длинному ряду столов, стоящих буквой «Г». Никаких выступлений, общих разговоров и тостов нет, беседуем, кто с кем хочет. Напитки предлагают на выбор. Решаю хоть раз в жизни попробовать виски, но даже со льдом это такая гадость, что допивать маленькую рюмку не хочется, и я незаметно ставлю ее на стол. Арахис, гренки, миниатюрные бисквиты и прочее служат легкой закуской, а не плотной едой, как на наших министерских приемах.

Ужин отличается от обеда, как правило, большей продолжительностью, отсутствием супа, обилием мясных блюд, наличием чая и кофе. Аперитив, то есть крепленое вино, подают только в самом начале, для аппетита, разливают его в рюмки. В фужеры наливают сухие вина. Я не видел, чтобы хоть один француз сразу выпил целый фужер вина. Обычно выпивают треть или половину, официант, хозяин или сосед тут же дополняет фужер. Мы внимательно следим за хозяевами и не нарушаем этикета.

Последний день нашей парижской жизни перед поездкой по Франции после окончания коллоквиума завершается приемом в Обществе «Франция–СССР». По существу, он мало отличается от приема в Министерстве ветеранов войны, только помещение значительно больше и комфортабельнее, выступления хозяев более теплые. Жена одного из наших советников посольства, недавно вернувшаяся вместе с мужем из поездки по Франции, с душевной болью рассказывает, что молодежь, в основном, настроена против нас. Почти все средства массовой информации остались в руках правых сил, их антисоветская направленность за последнее время усиливается, все события международной жизни трактуются не в нашу пользу. Например, сообщение об обмене посланиями между Р. Рейганом и Ю.В. Андроповым по поводу «нулевого» варианта было показано по телевидению следующим образом: «Рейган предложил Андропову мир. Андропов ответил: «НЕТ» (по-русски слово «нет» крупными буквами по диагонали экрана). Такой процесс одурманивания населения, естественно, создает и усиливает антисоветские настроения французов, особенно молодежи, не знающей действительной истории Второй Мировой войны.

Мой собеседник, окончивший факультет журналистики МГУ и работающий собственным корреспондентом одной из наших газет в Париже, рассказывает, что коллектив советской колонии в Париже, вместе с членами семей и обслуживающим персоналом, состоит из двух тысяч человек. Это целый квартал за высоким металлическим забором около Булонского леса. У ведущих сотрудников посольства и журналистов персональные машины. В советском посольстве есть 8-классная школа, учителя по контракту приезжают из СССР. Жены сотрудников преподают редко. Детские сады в посольстве есть, но многие сотрудники, живущие за пределами посольства, отдают своих детей в городские детские сады (в зависимости от близости их к дому). Детских яслей нет. Платят за пребывание детей в детсадах больше, чем в СССР, но кто сколько хочет.

В разных округах Парижа порядки различные, так как их устанавливают местные власти. Дискриминация очень сильная, при прочих равных условиях на работу примут француза, а не русского или араба. Француз не будет работать мойщиком автомашин или на конвейере автозавода.

Уровень жизни у различных категорий французов самый различный. Например, вдова русского летчика обеспечила себе спокойную старость, продав квартиру со всей обстановкой с правом пользоваться ею до смерти. Одни живут роскошно, другие буквально умирают от систематического недоедания. Пособие по безработице в течение года равняется 80% от зарплаты, затем 50%, потом 35-40%, дальше еще меньше, доходит до двадцати восьми франков в месяц, и примерно через два года после окончания работы его выплата прекращается. Некоторые на год уходят с работы, чтобы пожить в Алжире или

в Африке. В то же время в Париже пятьдесят тысяч нищих (клошаров) находятся на грани смерти от голода. Максимальный размер пенсии двадцать три тысячи франков в месяц; бывший профессор университета получает семнадцать тысяч.

Советник посольства, осуществляющий связь с Обществом «Франция-СССР», говорит:

– Если бы всё, что мы пишем о достижениях французского сельского хозяйства, использовали в СССР, Продовольственная программа была бы уже выполнена.

Ферма может существовать при площади не меньше сорока гектаров. Государство строго контролирует производство вина. Шампанское можно делать только в Реймсе, в других городах – «пенистое» и «игристое». Урожай винограда не может превышать одиннадцати тонн с гектара, с одного гектара можно изготовить только определенное количество шампанского, из остального винограда можно делать только другие вина. В урожайные годы вина оставляют «в закатке» на случай будущего неурожая. Три миллиона французов имеют право гнать самогон, по разрешению Наполеона своим солдатам и их потомкам. Франция покупает наше каберне, но только колхозного, а не государственного производства.

Молоко на долю секунды нагревают до 160°, затем очень сильно охлаждают, и оно может в течение шести месяцев храниться при комнатной температуре.

Смертная казнь во Франции отменена. Когда Барбье, бывший шеф гестапо в Лионе, крупный военный преступник, был, наконец, доставлен во Францию, министр юстиции заявил, что даже для него не может быть речи о смертной казни. За последние три года наш собеседник – корреспондент ТАСС не мог припомнить случая, чтобы преступник получил больше восьми лет тюремного заключения даже за самые тяжкие преступления. За поножовщину в метро получают не больше двух месяцев ареста. Заключенные живут в хороших условиях. Государство делает всё для того, чтобы отбывший наказание преступник вернулся в общество не озлобленным на людей. Может быть, такие условия и приводят к тому, что наша переводчица советовала ходить вечером по внутренней стороне тротуара, ближе к домам; свертки, фотоаппараты и особенно дамские сумочки держать тоже ближе к домам, иначе мотоциклист может с большой скоростью заехать на тротуар, и его пассажир, сидящий на заднем сиденье, выхватит из рук пешехода все, что он несет. За такое ограбление мотоциклист, если он попадется, получит несколько месяцев заключения. Во Франции преступность значительно ниже, чем в США.

На вопрос, угоняют ли автомашины, переводчица, очень эмоциональная парижанка, ответила одним словом: «Кошмар!» Наш журналист дополнил, что дешевую машину с пустым бензобаком никто не тронет, а дорогую машину с полным баком, если ее оставить на ночь на улице, угонят обязательно.

Россия и Франция

Полк «Нормандия-Неман» – очень яркий, но далеко не первый пример подлинной дружбы наших народов (И.Р. Ильин, 2003е). Россия и Франция – ровесницы. Киевская

Русь и Западно-Франкское королевство возникли в девятом веке. История российско-французских отношений насчитывает около тысячи лет. В XI веке королевой Франции была Анна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого.

Трагический этап нашей совместной истории (из песни слова не выкинешь) – Отечественная война 1812 года, пожар Москвы и взятие Парижа. Я любовался одним из красивейших парижских мостов через Сену, носящим имя Александра III. Маленькие ресторанчики мы называем по-французски «кафе», а французы – по-русски «бистро». Русским солдатам и офицерам в 1814 году некогда было рассиживаться в маленьких кафе; французы запомнили русское слово «быстро», но переделали его на свой лад.

В историю Парижской коммуны навечно вписаны русские имена Е.Н. Томановской, А.В. Корвин-Круковской, В.А. Потапенко, М.П. Сажина и П.Л. Лаврова.

Франко-русский союз 1893 г. был первым шагом к созданию Антанты, в составе которой Россия участвовала в Первой Мировой войне 1914-1918 годов. Российский экспедиционный корпус, состоявший из двух дивизий, сражался под Верденом и на Рейне.

Не вычеркнешь из истории и интервенцию Франции 1918-1919 годов, закончившуюся черноморским восстанием французских моряков – сторонников Советской России.

Наши дипломатические отношения были восстановлены в 1924 году, когда Франция признала СССР де-юре. Советско-французский договор 1935 года о взаимопомощи не предотвратил срыва московских переговоров 1939 года, и Франция в 1940 году была оккупирована немцами.

Легион французских добровольцев (ЛВФ) – борцов с большевизмом, в котором приносили присягу на верность Гитлеру, был создан в июле 1941 года. В 1941–1944 годах в нем служили около шести тысяч человек. Осенью 1941 года 638-й пехотный полк вермахта, он же французский полк № 1, направился на восточный фронт. Призыв французских добровольцев в войска СС начался в 1942 году. Бригада Ваффен СС «Франккрайш» была создана 22 июля 1943 года, 15 ноября 1943 года появился французский 57-й пехотный полк СС. Французская дивизия СС «Шарлемань» сопротивлялась советским войскам до последнего момента, сражаясь в центре Берлина в мае 1945 года. Более сорока тысяч французов воевали с СССР. В 1945 году у нас в плену находилось более пятнадцати тысяч французов, воевавших на стороне Германии.

Во Франции находилось более 200 тысяч советских военнопленных и гражданских лиц, угнанных на работы, более 30 тысяч из них навсегда остались во французской земле.

Различными путями, часто с помощью французских патриотов, бежали военнопленные из лагерей и вступали в ряды бойцов «Сопротивления». Во Франции было сформировано сорок партизанских отрядов, среди них «Донбасс», «За свободу», «Ленинград», «Железняк», «Сталинград», «За Родину», «Парижская коммуна», «Севастополь», «Котовский», «Чапаев» и другие.

На юге Франции сражались 1-й и 2-й советские партизанские полки. Жители города Безансон никогда не забудут, как гарнизон, сформированный немцами из власовцев и

бойцов восточных легионов СС, в свое время активно боровшихся с французским Сопротивлением, перебил фашистских офицеров и с оружием в руках перешел на сторону партизан.

Активное участие в «Сопротивлении» принимали лучшие представители русской эмиграции. Бывало, что в одном партизанском отряде сражались русский князь и бежавший из плена комиссар. Само название движения «Resistance» («Сопротивление») возникло от названия подпольной газеты, которую выпускали Б.В. Вильде и А.С. Левицкий, сыновья русских эмигрантов. Немцы выследили и расстреляли героев. Надпись над их именами, высеченными на мраморной доске в Музее человека, гласит: «Умерли за Францию». Только в 1985 году они были посмертно награждены орденами Отечественной войны первой степени. Под Парижем, в Сент-Женевьев-де-Буа, есть русское православное кладбище. Там находится могила расстрелянной княгини Оболенской (Вики, «Красной княжны», лейтенанта французской армии). Она была одним из руководителей «Сопротивления». Ее исключительная память хранила массу имен и адресов. Попад в руки фашистов, она несколько месяцев дурачила их, давала ложные сведения. Благодаря этому многие ее сподвижники успели скрыться. Здесь же похоронены и другие потомки родовитых русских дворян – участники «Сопротивления». Муж Вики, священник князь Николай Оболенский, похоронен рядом с Зиновием Пешковым, братом Я.М. Свердлова, приемным сыном А.М. Горького, сражавшимся с немцами в рядах французского иностранного легиона. Князь Волконский 16 июня 1941 года пришел в советское посольство и сказал, что война с СССР начнется 22 июня. Ему предложили стать диктором киевского радио, но он ушел в «Сопротивление». Воевал и русский летчик В.В. Поляков, отец Марины Влади, жены В.С. Высоцкого. Анна Юрьевна Смирнова-Мари написала песню «Партизан», ставшую гимном «Сопротивления».

В ходе боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи «Нормандия» и позже полка «Нормандия-Неман» совершили более пяти тысяч вылетов, провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 самолета противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Четверо асов «Нормандии» – Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр — удостоены звания героев Советского Союза, награды, которая крайне редко вручалась гражданам других стран. Полк «Нормандия-Неман» для Франции – это, образно выражаясь, луч света в темном царстве.

Отряд французских партизан «Благородный корсар» базировался в катакомбах на берегу Бискайского залива. Немецкая подводная лодка готовилась к выходу в море. Рязанец Петр Машков, бежавший из фашистского концлагеря, по заданию командира отряда во время шторма вплавь отбуксировал мину, прикрепил ее к корпусу подводной лодки и взорвал ее.

Отряд советских партизан участвовал в освобождении Парижа. Он форсировал мост Аньер, по бульвару Сен-Жермен достиг улицы Гренель, пробился к зданию советского посольства и водрузил на нем красный флаг.

В 1944 году СССР и Франция заключили договор о союзе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, но подписание правительством Франции

Северо-атлантического пакта, ее вступление в военный союз с США, Англией, ФРГ и другими западными странами, войны с Вьетнамом, Алжиром и Египтом резко охладили наши отношения. Получив в октябре 1949 года приказ вылететь во Вьетнам, большинство летчиков

«Нормандии» подало в отставку, но десять человек остались в эскадрилье. В 1954-1962 гг. воевала она и в Алжире. Только к 25-летию «Нормандии» (1967 год) восстановились контакты нормандцев, и этот юбилей советские и французские ветераны отметили вместе.

6 августа 1967 года во время тушения страшного лесного пожара на юге Франции погиб экипаж нашего вертолета во главе с Героем Советского Союза Юрием Александровичем Гарнаевым. Такие жертвы навсегда остаются в памяти народной.

Трагическая страница в истории взаимоотношений России и Франции – разгром Югославии. Приведу только последний абзац моей статьи «Не позорьте дорогую память», опубликованной в Тираспольской газете «Приднестровье» 2.06.1999 года и отправленной в Париж, в Совет ветеранов полка «Нормандия-Неман». «До нас поздно доходят вести. Надеюсь, что Совет ветеранов полка «Нормандия-Неман» уже выразил правительству свой гневный протест против бомбежки Югославии. Нужно потребовать от Военного министерства Франции немедленно отозвать эскадрилью из Югославии, чтобы не позорить гордое и дорогое для всех нас наименование – «Нормандия-Неман», а от правительства Франции – прекратить начинающуюся Третью Мировую войну».

Сейчас взаимоотношения восстановлены, совместные мероприятия проводятся регулярно. Знаменательное событие в истории российско-французских отношений – прибытие в Россию делегации Военно-воздушных сил Франции на боевых самолетах «Мираж» в связи с 60-летием полка «Нормандия-Неман».

Эскадрилья «Нормандия» входит в состав 30-го полка ВВС Франции. Российский истребительный авиационный полк

«Нормандия-Неман» базируется в Галенках, недалеко от г. Уссурийска. До недавнего времени командовал им гвардии полковник А.А. Фетисов, награжденный французским Серебряным орденом национальной обороны за достижения «в сохранении и обогащении французо-российских взаимных традиций авиационного полка «Нормандия-Неман». В его состав навечно зачислен Герой Советского Союза Марсель Лефевр. Французские летчики и советские техники-нормандцы сделали всё, что могли, для улучшения взаимоотношений между нашими странами. Будем надеяться, что история «Нормандии» послужит хорошим примером для будущих поколений, которым предстоит вместе жить на небольшом (в масштабах Вселенной) космическом корабле – планете Земля.

В связи с тем, что 2010 год в России объявлен годом Франции, а во Франции – годом России, запланировано проведение около четырехсот разнообразных общенациональных и много региональных мероприятий (Российские вести, 2009).

Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози открыли в Лувре выставку «Святая Русь» и оставили записи в книге гостей музея. Экспозиция охватывает более тысячи лет истории: роль «руссов» в латинской и византийской истории, первый расцвет христианского искусства в русских княжествах XI–XII веков, его развитие вплоть до петровской эпохи. В выставке приняли участие крупнейшие российские музеи – Кремль, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, музеи Владимира, Суздаля и Новгорода. В экспозиции 438 уникальных экспонатов из собраний семнадцати российских музеев, четырех библиотек и одного архива (И.Р. Ильин, 2010).

Контакты наших стран снова, в очередной раз, расширяются и крепнут.



Николай Федорович Коротник родился в г. Бугреватая Сумской области УССР в 1927 году. Окончил техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, работал на Херсонщине. Окончил Бельцкий педагогический институт (ныне БГУ им. А. Русо),

затем факультет журналистики Московской высшей партийной школы. Журналистскую деятельность начал в 1950 году в городе Сороки МССР. С 1971 по 1988 годы – редактор Бендерской городской газеты «Победа». Публиковался в альманахах «Литературное Приднестровье», «Ларец», «Горизонт», в коллективных сборниках. Николай Корытник был членом Союза писателей Приднестровья, Международного Сообщества Писательских Союзов. Был награждён медалями СССР и ПМР.

Николай Корытник многие годы руководил городским обществом «Знание», возглавлял Бендерское отделение Советского фонда мира. В последние годы жизни был собственным корреспондент газеты «Гомін» в Бендерах. В роковое лето 1992-го он был на передовой: создавал передачи для фронтовой радиогазеты, выезжал в горячие точки, сотрудничал в газете «Днестровская правда».

Николай Корытник – автор сборников рассказов и очерков «Яблоки любви», «Военные рассказы». Умер 16 сентября.2007г.

Николай Корытник

Егорка-разведчик

«Ах! Ах! Ах!» – слышались глухие разрывы снарядов тяжелых орудий.

«Бух! Бух! Бух!» – бухали где-то бомбы. А ночью их дополняли, раз за разом, кровавые зарницы.

Война! Казалось, что грохот огромной битвы слышен не только в этой богом забытой деревне, но и на всей планете. Так случилось, что деревню фронт обошел стороной. Ее каток покатила куда- то далеко на восток, до самой Волги. Иногда казалось, что война идет не на земле, а в небе. В небесной синеве появлялись то завывающие «мессеры» с крестами на крыльях, то краснозвездные «ястребки». И каждый раз они скрещивали свои огненные стрелы, сходились порой в неравном бою не на жизнь, а на смерть, загорались и факелами падали на землю.

...Тыловые немецкие гарнизоны находились только в городах, а в деревню, да еще расположенную вблизи лесов, они носа не показывали. И все же отдельные группы, рискуя жизнью, наведывались сюда, когда им хотелось поживиться свежатиной.

Однажды в деревне появились большие, крытые брезентом машины. Вывалившиеся из них солдаты бегали по деревне и выкрикивали: «Яйки», «Млеко», «Шнапс» – так они называли самогонку. Один из них увидел в соседнем дворе кабанчика и, заткнув за ремень полы шинели, давай за ним гоняться. Тот, как мог, ускользал от цепких рук, мотался то влево, то вправо, прыгал вверх и неимоверно визжал. Немец то и дело плюхался в грязные лужи, изрядно испачкав свой ефрейторский мундир, но снова и снова пытался поймать кабанчика. Эта дуэль, такая неожиданная, изрядно позабавила его друзей. Они подбадривали ефрейтора:

– Ганс, не робей, – кричали одни.

– За уши его, за уши, – давали советы другие.

У Ганса налились кровью глаза. Разъяренный, он выхватил пистолет и выстрелил в животное. Кабанчик упал, но его последний визг еще долго эхом разносился по деревне.

Буквально на второй день, рано утром, в деревню зашли партизаны. Немцев еще вчера как корова языком слизала. Партизаны, не разобравшись толком, открыли огонь по человеку, принявшему их за немцев. Он, петляя в глубоком снегу, уходил в сторону леса. Жителям деревни стало известно, что беглец остался жив. Понятно, домой он уже не вернулся, боясь насмешек. Правда, потом рассказывали, что он попал в один из партизанских отрядов, затем влился в действующую армию, дошел до Берлина, имеет много наград, свидетельствующих об его смелости и отваге. О нем в своей книге «От Путивля до Карпат» писал сам партизанский генерал Ковпак.

Но то было зимой 42-го. А летом 43-го деревню освобождали советские солдаты. Маленькая деревушка оказалась крепким орешком как для одних, так и для других. Она несколько раз переходила из рук в руки. Строчили автоматы и пулеметы, рвались мины и снаряды, падали бомбы. Немцы со страхом говорили о «катюшах», каких-то «ванюшах», которые якобы стреляют ящиками, начиненными смертоносными снарядами. Мирное население пряталось в землянках. Они имелись в каждом дворе и были надежной защитой. Как правило, перекрытиями им служили бревна в два наката.

Но Егорка никогда не прятался. Спал то в сарае, то просто во дворе, на скирде душистого сена. Когда долго не мог уснуть, считал звезды в небе, а иногда смотрел на яркие фонари, висевшие над землей на парашютах. Немцы их использовали как заграждение против самолетов «По-2», доставлявших непрошеным гостям большие неприятности, особенно в ночное время. На бреющем полете «ночные бабочки» буквально прижимались к земле, без звука забрасывали беспомощных немецких вояк градом бомб. В народе эти самолеты любовно называли «кукурузниками», а немцы из-за страха – «ночными ведьмами», хорошо зная, что летчиками на них были смелые женщины.

В дневное время Егорку можно было видеть везде. При редких встречах некоторые награждали его нелестными эпитетами, говоря: «Ты, что сдурел?», а другие выражали восхищение его смелостью и храбростью. Он хотел первым встретить своих освободителей, считал себя готовым к защите Родины. Еще до войны, во время маневров, которые проводили члены «Осоавиахима» соседнего совхоза чуть ли не каждую неделю, мальчику приходилось стрелять из винтовки, и его часто хвалили за меткое попадание в

цель. Вообще-то, Егорка к тому времени не только умел стрелять, но и знал как таблицу умножения все виды отравляющих веществ, не раз ему приходилось одевать противогаз...

И вот однажды, когда все вокруг гудело, ухало, рвалось, Егорка услышал со стороны восточной окраины деревни нарастающий лязгающий гул. Он быстро вернулся во двор, насобирал яблок в саду, насыпал в кулек сахару и выскочил с подарками за ворота. Когда он появился на улице, там уже громыхал гусеницами танк, который шел на большой скорости. «Как его остановить?» – мелькнула мысль у Егорки. Вокруг - ни души.

И вот бронированная машина резко затормозила и остановилась. Ее догнал и окутал шлейф пыли. Прошли какие-то секунды, и через серую завесу из верхнего люка боевой машины показался человек. Он поманил к себе Егорку и предложил:

– Айда с нами!

Но тут же добавил:

– А не достанется тебе от мамы?

– Нет, – ответил Егорка. – Она у меня добрая.

Мысль убежать на фронт уже давно будоражила Егорку. Он мечтал встретить там отца. И заодно отомстить немцам за своего первого учителя, убитого ими. Не мешкая ни минуты, Егорка буквально нырнул в передний люк, сразу попав в крепкие объятия водителя.

Когда Егорка отдышался, командир танка снова спросил:

– Значит, поедешь с нами?

Егорка утвердительно кивнул головой и начал внимательно осматривать все, что мог увидеть в бронированной крепости. Ему было интересно: кругом красные и синие провода, вверху пушка, рядом сверкают белыми головками медные снаряды. В углу шипит рация. Танкисты тут же предложили ему надеть шапку, похожую на ушанку, которую они называли шлемом. Егорке то и дело приходилось поправлять непривычный для него головной убор. Но вскоре понял, что не так уж плоха шапка, особенно тогда, когда танк рванулся с места, и голова Егорки ударилась обо что-то железное.

По пути танкисты буквально засыпали его вопросами:

– Когда последний раз видел немцев?

– Как быстрее добраться на другую сторону леса?

– Что из себя представляет высотка над лесом?

Танк легко проскочил через редкий лес и остановился в балке, заросшей лозняком. Экипаж дополнительно замаскировал его ветками. И тут командир вновь спросил Егорку:

– Не боишься?

Дальше последовало наставление:

– Идти в разведку тебе придется одному. Самому принимать любое решение. Особенно не рискуй. Взвешивай каждый свой шаг. Не спеши. Поднявшись на горку, попробуй сосчитать немецкие машины. У нас есть данные, что там скопилась танковая группировка, недобитая под Прохоровкой. Сейчас она оказалась под твоей Ахтыркой.

– Место ты хорошо знаешь? – еще раз переспросил командир.

– Так точно! – совсем по-военному ответил Егорка. – До войны на этом самом месте пас коров.

...До намеченной цели Егорке пришлось добираться через бурьян в рост человека. Он больно царапал не только руки, но и лицо. Порой приходилось низко пригибаться, а иногда ползти. И вот Егорка уже на месте, откуда было видно все, как на ладони. Увиденное его несколько удивило. «Что это такое? – сразу подумал он. – Там, где еще недавно морем разливалась пшеница, небольшие скирды. Разве можно так быстро. Скосить и убрать пшеницу?.. Как в сказке».

Все это время экипаж танка, насколько это было возможно, следил за передвижением Егорки, готовясь в любое время прийти на помощь.

И тут послышалась немецкая речь. Егорка, хотя и учился до войны всего в пятом классе, кое-что понимал по-немецки. Ему послышалось, что один из беседующих сказал:

– Fiinf und vierzig.

Так это же в переводе на русский – сорок пять! Именно столько насчитал Егорка на поле скирд.

– Вот это да! Вот она – загадка! Это же не просто копны, а бронемашин, прикрытые пшеницей. Маскировка, – чуть ли не в голос сказал мальчик. А дальше уже про себя подумал: «Хорошо знать иностранный язык».

Кстати, Егорку знание немецкого языка выручает не впервые. Как-то во время перестрелки наших солдат с противником, которых разделяла всего маленькая речушка, пробегающая через деревню, Егорка увлекся и зашел в немецкое расположение, где окопались вражеские солдаты. Некоторые из них читали журналы. Егорка таких красочных давно не видел. Только до войны родители специально для него выписывали журнал «Пионер». Один раз, прочитав в нем объявление о конкурсе на лучшее сти-хотворение о пионерском галстуке, он сочинил четверостишие и послал в журнал. Ответа не получил... Началась война.

...Гостя у бабушки, жившей в другом конце деревни, через речку, Егорка проявил беспечность: попал в самый эпицентр вражеской обороны. Его заметил немец, раздетый до пояса. Нашупав кобуру, он выхватил пистолет и начал грозить в сторону Егорки. И с перепугу храбрец залопотал по-немецки, показывая на горящие дома по ту сторону речки.

Немец спрятал пистолет, но еще долго кричал. По-видимому, ругался. Егорка не знал, как ругаются по-немецки. Он долго отступал, не отворачивая лицо от немца, двигаясь пятками наперед, пока не убедился, что опасность быть убитым миновала.

Но не это главное. Когда Егорка вернулся из разведки, он доложил:

– На высотке сорок пять скирд. Ими прикрыты замаскированные бронемашины. Среди них, похоже, есть «тигры» и «пантеры»: во многих местах торчат стволы их пушек.

Выслушав донесение юного разведчика, командир сказал:

– Егорка, ты молодец! Ты подтвердил наше предположение!

Связавшись с командованием и доложив по радиации о выполнении задания, он тут же снял со своей гимнастерки медаль «За отвагу» и прикрепил ее к полотняной рубашке Егорки.

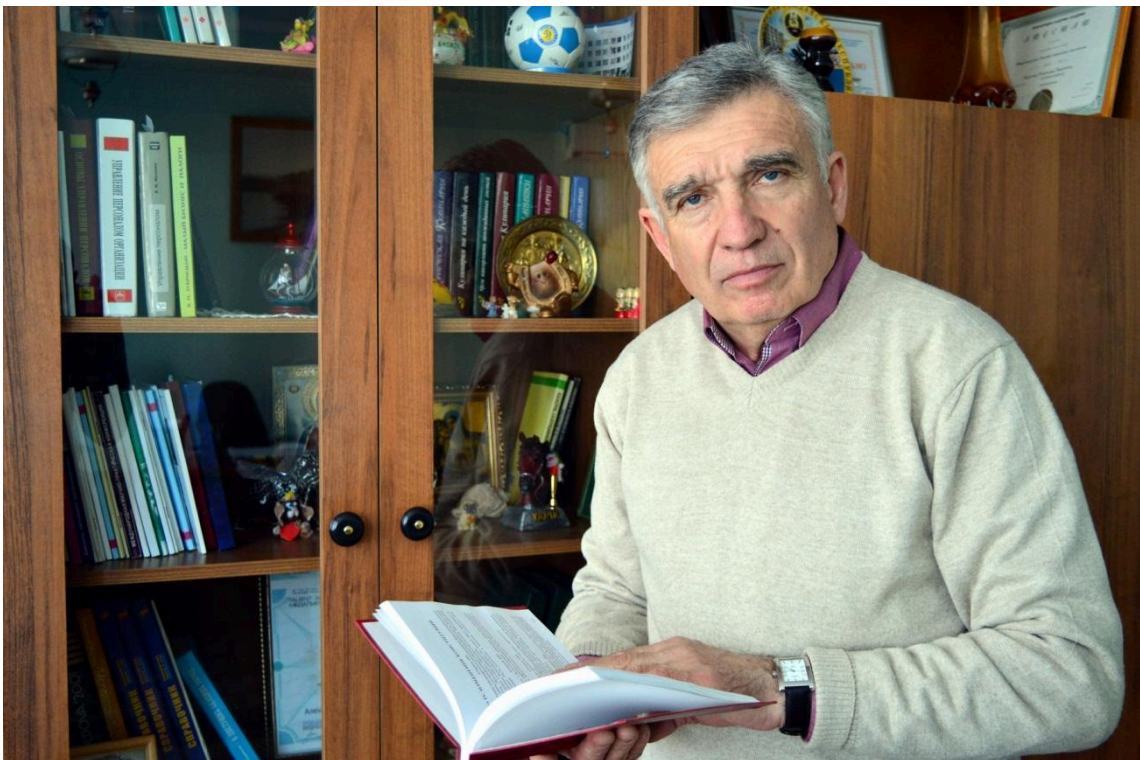
На обратном пути мальчик почувствовал себя совсем взрослым и подумал о том, что как только боевая машина остановится, он обязательно попросит танкистов взять его с собой на фронт. Но тут же у него появилось и сомнение: не обманут ли танкисты, как обманули его однажды те солдаты, которые представились представителями интендантской службы? В то время Егорка еще не знал, что это за служба. Тогда они его попросили показать хату бывшего старосты, забрали у его семьи бычка, обещали на обратном пути заехать за ним. Но больше они так и не появились, хотя давали честное комсомольское.

Когда танк поравнялся с домом Егорки и танкисты вновь начали благодарить юного смельчака за подарки и боевое братство, он так разволновался, что забыл о своей просьбе. Танк рванулся с места, как ретивый конь, а Егорка еще долго стоял как вкопанный.

У калитки родного дома его уже ждала мать. Обнимая, целуя, вся в слезах, она только и промолвила:

– Жи-во-й!

А часом позже Егорка услышал гул советских самолетов и увидел, как, виляя хвостами, посыпались бомбы. От их разрывов земля дрожала. Высоко в небо поднимались столбы черного дыма с красными языками. То горели за деревней вражеские танки.



Александр Борисович Карасев родился в 1950 году в г.Тирасполе в семье военнослужащего. Получил высшее филологическое и экономическое образование. Работал в комсомольских и партийных органах: секретарь комитета комсомола агропромышленного объединения Тирасполя, инструктором ЦК комсомола Молдавии и Тираспольского горкома партии, секретарь парткома городского Управления торговли. В профессиональной журналистике был литературным сотрудником городской газеты «Днестровская правда» и редактором газеты «Труженик торговли». Работал директором ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции».

Член Союза журналистов СССР и ПМР, член Союза писателей Приднестровья, Заслуженный работник народного образования, член-корреспондент Международной кадровой академии, адъюнкт-профессор Межрегиональной академии управления персоналом г. Киев. Автор литературно-публицистических книг «Мечты сбываются», «Дедово наследство», «Непридуманные истории», «Яблочный спас», «Хождение за четыре моря», ряда других изданий.

Главный редактор ведущего печатного издания республики газеты «Приднестровье» Александр Карасёв является председателем Союза журналистов ПМР.

Александр Карасев

Дедово наследство

В предверие Дня Победы в техникуме был объявлен конкурс на лучшее сочинение, посвящённое этой славной дате. При подведении итогов несколько удивились: победителем стала далеко не лучшая студентка-первокурсница, у которой по литературе обычно были «тройки». Содержание сочинения не могло не вызвать заслуженного уважения и признания его автора. Допущенные же в нём грамматические и синтаксические ошибки уже не учитывались – так тепло и сердечно изложила свой рассказ студентка. Как это у неё получилось, судите сами.

«Я своего деда никогда не видела, – писала она. – Как-то в детстве спросила о нём отца:

– Пап, а кем был мой дедушка?

– Солдатом, дочь. Простым солдатом, рядовым. Он погиб в той войне... Твой брат, знаешь, очень похож на него...

В наследство от деда осталось у меня три письма с фронта. Их мне подарила бабушка, в памяти и сейчас тот день. Он до сих пор кажется мне торжественным и знаменательным. Бабушка долго копалась в старом шкафу и, наконец, достала коробку из-под конфет. Поманила меня пальцем и села за стол.

– Вот, внучка, на память тебе наше наследство. Знаю, твоим подружкам, может, другое дарят. Настя, к примеру, моя соседка, прошлым летом своей внучке – она тоже приезжала к ней в гости – передала золотую цепочку. А Серафима, которая через дом от нас живёт, так она целый дом переписала. Её внучка, правда, маленько постарше тебя, на зубного врача учится, в самой Москве.

Бережно раскрыла коробку, а в ней – чистый вышитый платок, в нём – письма.

– Три письма, внученька, теперь твои. Храни, как и я хранила.

Я приняла эти письма как святыню. Раскрывала, читала, снова убирала. И опять раскрывала, и читала. Так часто, что выучила наизусть. «Лизонька, здравствуй, милая! – писал дед. – Прошло пять месяцев, как я далеко от вас. Такого ещё не было, чтобы мы так долго жили врозь. Скучаю, мои дорогие. Даже не верится, что вы так далеко от меня. У нас, Лиза, холодно. Мороз по здешним местам сильный, но я привыкший. Сибиряк поди! Во взводе со мной ребята из Баку. Так они совсем замёрзли. Молоденькие солдатики, прямо мальчишки, и все симпатичные. А один – Рафиком зовут – на нашего Мишу похож. Такой же высокий, худенький, и родинка тоже на левой щеке. Всё в гости к себе приглашает, когда война закончится, вино свое домашнее расхваливает. Отцу моему, говорит, ты, Петрович, понравишься, он у меня тоже кузнец. Не знает паренёк, что отца у него больше нет. Одному земляку его написали, что он погиб. Я упросил пока об этом Рафику не говорить. Жаль мальчонку – сникнет. А он такой весельчак, так песни поёт на своем родном языке, что закачаешься».

Что написано дальше, понять было трудно. В первый раз, когда я читала это письмо, помню, старалась разобрать, но бабушка остановила меня:

– Не отгадаешь, это моими слезами все буквы вымыло. Получила письмо, вечером Степашка помер, меньшей мой. Всю ночь над письмом и проревела. Как сказать теперь мужу?..

Читая сочинение студентки, я представил свою бабушку маму отца. Она была невысокая, сухонькая, и от глаз, словно лучики, расходились веером морщинки. Бабушка жила далеко от нас, и я видел её всего несколько раз в жизни. Помню, приезжал к ней, будучи студентом. Мы с бабушкой шли по широкой улице, и она, маленькая, слегка сгорбленная, в плюшевом пальтишке, держала меня под руку и как-то важно здоровалась со встречными. При этом останавливалась и произносила:

– А это мой старший внучек, от Бориса, живут в Молдавии, студент, приехал вот погостить. Там, на юге, они все такие чернявые...

Я на всю жизнь запомнил её русскую баньку по-чёрному с заранее заготовленной четвертушкой водки на полке, мягкий пуховый матрац на кровати с панцирной сеткой, на которой я не лежал, а блаженствовал, а бабушка сидела рядом на табурете и всё говорила,

говорила... Сквозь сон я слышал её рассказ о детях, которых у неё кроме моего отца было ещё пятеро, о муже пропавшем без вести в 44-м.

Я очень сожалею о том, что слишком мало знаю о своём деде и почти ничего о его отце, то бишь о своём прадеде. Ниточка оборвалась – всё ушло во тьму, в бездну... А ведь это неправильно, несправедливо. Теперь нужно сделать так, чтобы в этом твои дети и внуки не повторили тебя. Как обрадовался я, когда старший сын, заинтересовавшись судьбой своего прадеда, узнал то, о чём всю свою сознательную жизнь мечтал мой отец! Я помню, он долго искал следы таинственной смерти своего отца, множество запросов отправлял в Подольск, в архивное управление Министерства обороны тогда ещё Советского Союза. Но всё тщетно. Мой отец ушёл в мир иной, так и не узнав, где и какая земля приняла его отца, согласно похоронке числившегося без вести пропавшим, так и не вернувшимся с войны домой.

И вот теперь, спустя много лет, то, что вчера ещё было тайной, стало явью. В который раз с сыном обращаемся к Интернету, к уже знакомому сайту главного архива Вооружённых Сил Российской Федерации «Мемориал». На нём в честь юбилейной годовщины победы над фашистской Германией обнародованы многочисленные списки погибших. А вот и тот документ, который раньше не могли найти архивные работники. Я его, кажется, запомнил наизусть. В донесении о безвозвратных потерях сержантского и рядового состава 341-го стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии от 1.IV.1944 г. за № 18082 наш Николай Петрович Карасёв значится четвёртым. В документе всё верно указано: и год, и место рождения, и имя, отчество жены... В графе «Когда и по какой причине выбыл, где похоронен» неразборчивым быстрым почерком записано: «Псковская область, Пустошкинский район, деревня Тимашково». И эта зловещая дата: 10 марта 1944 года. Судя по этому документу, здесь в тот день вместе с моим дедом погибли 12 человек. Читаем фамилии этих русских солдат, наверное, тоже значившихся прежде без вести пропавшими. Почему-то хочется верить, что в этой деревне на Псковщине, есть братская могила и на её гранитной или мраморной плите высечены их имена. Возникает непреодолимое желание побывать там, просто постоять и помолчать...

Опять вспомнилась бабушка, её доброта, гостеприимство, вкусная стряпня. Мне особенно нравились её пельмени, которые знали в мороз своё место в мешке в сених и в любую минуту готовы были к употреблению. О них-то, солёных огурчиках и хрустящей квашеной капусте после баньки я так, наверное, загадочно и запальчиво рассказывал, что Тенгиз Шелия, мой новый знакомый по командировке в Набережных Челнах – а это всего тридцать километров от бабушки, – охотно согласился составить мне компанию и в один из свободных от работы дней посетить её. Меня так просил об этом отец! Помню его слова: «Найди время, побудь хоть денёк у бабушки, далеко она от нас, и кто знает, когда ещё придётся свидеться...». В воскресенье мы с Тенгизом долго бродили по старинной Елабуге, откуда отправлялся автобус на Мамадыш (в этом маленьком городке на Вятке жила бабушка), побывали в музее великого художника Шишкина, купили авоську мандаринов, половину из которых раздали раскосым девчонкам-татарочкам из местного учительского института. С ними случайно познакомились в выдавшем виде автобусе, перевозившем нефтяников с одного берега Камы на другой. Мой приятель грузин очень

боялся, что лёд на реке не выдержит груза нашего переполненного транспорта, и, не скрывая этого, всю дорогу простоял у дверей, причитая:

– Если бы знала мамочка, где её сын, если бы она знала, что с ним сейчас может произойти на этой замёрзшей реке...

Он был слегка навеселе, и его без того острый кавказский юмор не мог быть незамеченным попутчиками, тем более девчонками-студентками. Он дарил им мандарины и рассказывал, что у него дома, в Грузии, они растут на каждом углу – только протяни к дереву руку. Экскурсия по Елабуге так затянулась, что в Мамадыш отправлялись последним автобусом. Но оказалось, что нам не суждено было тогда доехать до места назначения. Сразу за городом при въезде в лес, примерно такой, как на картинах Шишкина, внезапно началась пурга. Поднялся сильный ветер, закружился в хороводе снег, и водитель автобуса, не желая рисковать, повернул назад. На следующий день приехал старший по командировке, и работа уже не позволяла отлучаться. Так я никогда больше и не увидел бабушку. Весной следующего года её не стало... А настроение отца, раздосадованного моим рассказом о том, как я собирался и не сумел попасть в гости к бабушке, я чувствую и сейчас. Тогда он ничего мне не сказал, а молча вышел на балкон и долго курил. Нетрудно было догадаться, о чём он думал.

Приходит время, когда многие из нас задумываются о своей родословной – о тех, кто жил до нас, носил ту же фамилию, которую сейчас носим мы. Кто они были, наши предки? Хорошо, когда знаешь, а если нет? Нельзя искать оправдание в том, что раньше тебе было недосуг покопаться в истории своей фамилии. А ведь представь: до тебя жили дед, прадед, прапрадед... Они были людьми разных эпох, разного времени, но такими же мальчиками, юношами, мужчинами... Они так же радовались, огорчались, к чему-то стремились, о чем-то мечтали... Живёшь на свете, стараешься, вроде, приносить пользу другим, что-то пытаешься делать, рождаешь детей, воспитываешь их, хочешь, чтобы они в будущем жили лучше тебя, а о тебе потом твои же потомки просто не знают.

...Продолжаю читать сочинение. Студентка пишет:

«Бабушка дала мне читать другое письмо: «Здравствуй, дорогая, Лиза! Я жив-здоров, чего и вам желаю. Бью фрицев что есть силы, всё время думая о вас. Как вы там, мои дорогие? Не болеет ли Сережка, справляется ли с хозяйством Борис? Он ведь в семье сейчас за старшего. Чувствую, Лиза, войне скоро конец. Ослаб немец, да и мы злее стали. Каждый день слушаю сводку. Вот и Воронеж освободили. Всю ночь не мог заснуть. Тебя во сне видел – ты красивая, вся в белом и шаль на плечах вязаная. Неделю назад получил от нашего Мишутки письмо. Он уже старший лейтенант. Сослуживцы, узнав, что сын в таком звании, шутят: «Общеголял тебя, Петрович, твой Мишка, сынок в генералы метит, а ты всё рядовой». А ещё скажу тебе по секрету, у Мишки невеста есть – санитарочка из медсанбата. Вот такие дела, Лиза. Как жизнь быстро бежит! После войны жить буду совсем иначе. Что-то я о себе да о себе. У ребят, наверное, обувь износилась. Пойди к Пашке, что у клуба живёт, он, когда вместе в госпитале лежали, обещал тебе помогать.

Через месяц-другой огород копать будете, сажайте только картошку. Сапоги мои яловые отвези в город и продай, они немало стоят – выручат. А мне они сейчас ни к чему. С войны вернусь, справлю новые. Писал бы ещё, да ребята зовут. Окопы будем рыть. Наверное, застрянем здесь. До свидания, дорогие. До встречи. Я вас всех крепко люблю».

А вот третье письмо: «Здравствуйте, Елизавета Степановна! Пишет вам старший сержант Кузьма Фролов. С вашим мужем, Николаем Петровичем, я был в друзьях. Так вышло, что всю войну вместе были. О вас он мне много рассказывал. Письмо давно собирался написать, но всё боялся опередить похоронку. Будьте мужественной, Елизавета Степановна. Что поделаешь – война. Много писать не буду. Поймите, мне нелегко. Расскажу только, как погиб ваш Николай. Пусть дети знают, внуки. Такие люди, как ваш муж, победили в войне. Наша батарея стояла в небольшом сосновом лесу. Рядом деревенька – дворов десять, не больше. В крайнюю избу в лютый мороз фашисты согнали детей. Озверел немец вконец. Мы были в разведке и выдать себя никак не могли. И детей в беде не могли оставить. Вот ситуация! В ночь к избе ушли трое, в том числе и Петрович. Вернулись все и с собой пятерых принесли. И тут один из них заплакал: «Дяденька, там осталась моя сестрёнка, она на печке». Николай пошел снова. Теперь один. Когда вернулся, начало светать. У кромки леса он встал, протянул нам полуживую девочку и, улыбнувшись, сказал: «Ещё на свадьбе у неё погуляем». И тут раздался сухой выстрел снайпера.

Николая Петровича мы похоронили утром на том самом месте, где он упал. В изголовье могилы – две сосны. Уважаемая Елизавета Степановна! Ваш муж погиб героически. Вечная ему память, гордитесь им. Вот и написал вам письмо. Ребята с батареи передают вам привет и низкий поклон. Мы с вами, Елизавета Степановна, с вашим и нашим Николаем. До свидания. По поручению батареи гвардии старший сержант Фролов».

Вот и всё. Я отложил прочитанное сочинение, мною овладело раздумье. Судьба человека, самого что ни на есть простого, каких тысячи, миллионы... Она может уложиться не в многотомный роман и не в пространную исповедь, а в несколько вот таких строчек. Простых и возвышенных, хватающих за душу. Я думаю о том, сколько в огромной России, да и не только в ней, было подобных писем. Какое наследство оставила нам та далёкая страшная война. Невернувшиеся с неё деды и прадеды, так и не успевшие состариться, духовно поддерживают тех, ради кого они победили. И как тут не согласиться со студенткой, которая закончила своё сочинение так: «Мир живёт в другом веке, вместе с годами из жизни уходят люди, которые тогда были молоды... Но они не забыли тех, кто однажды шагнул в бессмертие. Не забудем и мы. Старшие, как эстафету, передали нам эту память. И так из поколения в поколение...»

Николай Кудин

Фронтное письмо

И просторно и радостно

На душе у бойца

От такого хорошего,

От её письма.

М.

Исаковский

Снег, медленно опускался на землю, покрывая всё сплошной пеленой. Образовавшуюся на краю окопа насыпь замаскировало белым покрывалом. Полк

готовился к обороне: в направлении Сталинграда, ожидалось крупное наступление немцев. Когда случалась передышка, солдаты спешили отправить весточку своим родным. Писали письма: приветы с фронта, скупые обмолвки о предстоящих боях, а главное – успокаивали родных, что живы, вселяя в них надежду и уверенность в победе.

«Голубушка моя, здравствуй!». «Добрый день, родичи, сообщаю вам, что я жив и здоров, чувствую себя хорошо и бодро...». «Шлю горячий привет с фронта своей дорогой жене и милым детям. Пусть хранит вас моя любовь». «Здравствуй, любящая супруга, шлю душевный привет и целую тебя, привет деткам и целую вас, мои крошки... Пиши, что у вас. Дорогая, может, останусь жив, тогда все доскажу. Береги детей. Живы будем – увидимся. До свидания, мои дорогие родные. Целую вас крепко. Жду ответ, моя любимая. Целую тебя. Ваш супруг». Письмо складывалось особым способом в треугольник, и эти фронтовые послания, на которых стоял обратный адрес: полевая почта, номер и фамилия, забирал и уносил полковой почтальон.

Рядовой стрелкового полка Александр Вяткин своим близким писал нечасто. Больше всего о родных и земляках он любил рассказывать своим сослуживцам. Во взводе, в котором он служил, секретов между бойцами не было, и каждый, получивший письмо, мог запросто его прочесть товарищу. Но больше всего солдатам нравилось слушать, когда читал Вяткин. Прочтёт, бывало, Сашка в редкой весточке от родных о ком-нибудь из своих односельчан и тут же опишет товарищам, какой это человек и чем таким знаменит в селе, сколько тому лет, какой он с виду, как ходит, разговаривает, что в нём примечательного. Из Сашкиных описаний этого человека живой портрет получался. Он после каждого прочитанного слова ещё много говорил от себя, мечтательно глядя куда-то вдаль, с вдохновением сочинителя.

Рассказывал Вяткин о земляках всегда интересно и обязательно с какой-нибудь историей, приключившейся с ними. По всему было видно, любил он село своё и его людей. Письма же никогда не показывал, аккуратно складывал и прятал в нагрудный карман. Тёплые весточки из дома солдаты всегда ждали с нетерпением, сами же, надо заметить, порой скупились на ласковые слова, обращенные к родным, матерям, жёнам и сёстрам, которые своими нежными письмами всегда поддерживали их в трудную минуту. Бойцы же нередко даже идущие из глубины сердца чувства стеснялись высказывать откровенными словами, несмотря на то, что знали – могут завтра погибнуть в бою.

Пехотинец Вяткин Александр Степанович, любивший рассказывать интересные истории о своих односельчанах, погиб больше месяца назад. И сейчас однополчане вспоминали его всякий раз, как почтальон доставлял им почту. Они помнили, как Сашка в такие минуты с весёлой грустью своё житьё-бытьё в деревне расписывал. Всегда по-доброму, неторопливо, словно подбирая точные слова, и всё у него как-то складно получалось. У сослуживцев от таких его повествований на лицах непременно улыбка появлялась. Да и сам Сашка словно удивлялся тому, о чём рассказывал. Вот, мол, ты смотри, было же такое!

– Привезли к ним как-то в деревню, – рассказывал Сашка, – группу детдомовских парней и девочек, якобы для помощи в уборке урожая или других каких посильных для этих

детей дел. Так все у нас в колхозе правильно поняли эту святую неправду: подкормить надо было, насколько это возможно, этих изголодавшихся городских детдомовских ребят.

Разобрали их всех по домам и кормили, как своих, всё то время, пока они будто бы помогали колхозникам в работе. Запомнилась всем из той группы одна девочка с большими глазами, которая сама слабая была, а всё норовила лишний кусок одному светленькому мальчику подсунуть.

Говорила, его к ним в детдом недавно определили с улицы, что он совсем плохой, его ветром качает.

Солдаты слушали Сашку, и у них складывалось впечатление, что в селе, где он живет, сплошь необычные, гостеприимные и хлебосольные люди.

Сам же Вяткин при этом не то чтобы был каким-то особенным. Обычный с виду человек, можно даже сказать – невзрачный: русые волосы, конопатый, невысокого роста, худой. Казалось бы, уже взрослый человек, полных девятнадцать лет, а выглядел как мальчишка. Как его убили? В него попасть-то было трудно.

Полк, в котором воевал рядовой Вяткин, всё ещё стоял на прежних позициях и готовился к отражению предстоящего немецкого наступления. Солдаты были заняты укреплением обороны, рыли окопы, дополнительные ходы сообщений и как-то в суете дел забыли об убитом наводчике пулемётного расчёта Сашке.

Но вот в полк пришло письмо. На самодельном конверте из тетрадных листов в клеточку после номера полевой почты было написано: «Вяткину Александру Степановичу». Не дошла, знать, ещё до его родных похоронка. Старшина Иван Булыга, сидя в окопе на ящике из-под снарядов, держал в руке письмо, адресованное погибшему Вяткину, не зная, что с ним делать. Конечно, старшина мог сказать ротному писарю, написать в углу конверта: «Вернуть, за смертью адресата». Но это бы значило: раньше, чем придёт родным заблудившаяся где-то похоронка, разрушить незримый мост между теми, кто ушёл воевать, и теми, кто остался их ждать. Булыга, размышляя над тем, как поступить с посланием тому, кто в списках живых уже не значился, грустно поглядывал на бойцов. Сослуживцы смотрели на старшину, и каждый думал о своём. Кто-то вспоминал весёлые Сашкины рассказы об односельчанах, кто-то гнал от себя мысли о том, что, может так случиться, и ему придёт письмо, а его уже не будет. Кто-то упрекал себя с укоризной, что давно не писал матери, другие думали о том, что скоро в бой.

Высокий, крепкий, обычно говоривший мало сержант Виктор Семёнов, друживший с Сашкой и воевавший с ним в одном пулемётном расчёте, видя, что старшина в замешательстве, не знает, как поступить, предложил:

– Давай прочитаем письмо, старшина. Вдруг его мать похоронку получила, а сыну по-прежнему пишет. Такое бывает сплошь и рядом, не хотят наши матери верить в то, что нас убивают. Да и сам Сашка любил нам рассказывать, о чём ему пишут. Думаю, узнай он, что мы читаем это письмо, не стал бы возражать.

Булыга неуверенно продолжал крутить в своих огромных руках, потемневших от земляных работ, маленький треугольник. Окружившие старшину однополчане

выжидательно посматривали на него, гадая, какое Иван примет решение. Почувствовав их нетерпение, Булыга развернул самодельный конверт и, окинув взглядом собравшихся, прочитал: «Здравствуй, Саша! Пишет тебе Настя...»

– Подруга, должно быть? – предположил Булыга, оглядываясь вокруг. Он пробежал взглядом несколько первых строк и неуверенно добавил:

– Не наше это дело, может, не читать дальше?

Вяткин никогда не рассказывал о Насте. Он всегда говорил только о своей деревне, о родне, о соседях, односельчанах, но никогда о Насте.

– Что уж там! – и бойцы потребовали, чтобы он читал письмо до конца. Настя писала:

«Обездолили тебя, Сашка, ещё раз. Разбомбили немцы наш детский дом. Помню, как привёл тебя к нам милиционер – чумазого беспризорника. Я уже год как жила в этом детдоме, сколько нам тогда было, лет восемь – девять? Ты ещё сразу ко мне подошел, сел рядом и давай про какую-то деревню рассказывать, будто там всегда хлеб, картошка и молоко есть. Я тебе не поверила, сама из деревни, знаю, что там... А вот ты, Сашка, городской, я метрики твои нашла в Никольской церкви. Помнишь, ты говорил, что бабушка твоя, пока жива была, всё эту церковь поминала. Ходила я туда, с батюшкой разговаривала, он мне выписку из метрической книги сделал. Родился ты, Сашка, в двадцать третьем году, а не в двадцать втором, как ты соврал. Отец твой – Вяткин Степан Евграфович, мать – Фомина Валентина Петровна. Они умерли, когда тебе четыре года было. Отчего умерли, батюшка не указал. Жил ты у бабушки, пока и она не умерла. Как ты выжил?» В конце письма Настя дописала: «А рассказы твои про деревню мне всегда нравились. Вот вернёшься и расскажешь ещё. Ты ведь вернёшься?»

Булыга закончил читать и задумчиво начал складывать листок опять в треугольник, будто его никто и не читал. Солдаты, какое-то время молчали, потом стали смотреть на сержанта Семёнова, дружка наводчика из пулемётного расчёта Вяткина Александра, словно спрашивая его, не из одной ли они деревни.

– Да не говорил мне Сашка никогда, что он сирота и вырос в детдоме, – оправдываясь перед товарищами, заговорил, было, сержант, но его голос утонул в грохоте разорвавшегося снаряда.

Начался обстрел, мины падали и рвались в нескольких шагах от окопа. Взрываясь, они образовывали грязные круги на земле. Осколки, разлетаясь, ударялись в бруствер и стенку траншеи. Под вой разрывающихся снарядов пехотинцы рассыпались по окопу, который накрыло сразу несколько мин. На краю села в небе повисло коричневое облако, запахло гарью, что-то кислое оседало во рту. В паузах между взрывами была слышна начавшаяся беспорядочная стрельба. Противник пошёл в наступление. Скоро впереди, на пустынном поле, показались немецкие танки. Они были хорошо видны на выпавшем за ночь снегу. Танки ползли, оставляя за собой взрытые гусеницами чёрные полосы земли.

Пулемётный расчёт сержанта Семёнова и его наводчика рядового Клашпая Бектаева, заменившего погибшего Вяткина, своим огнём уложили бегущих за танками

фрицев на перемешанную со снегом землю. Бой длился почти весь день с короткими перерывами. К вечеру всё стихло, танки остались дымиться на перепаханном взрывами поле.

Отстояли село, похоже, враг выдохаться стал. Не было уже у немцев той былой наглости и веры в свою непобедимость, которая обманчиво вселилась в них после лёгких завоеваний европейских государств, когда перед фашистской Германией, столицы стран Европы покорялись за считанные месяцы, а то и дни.

Вторгшаяся в сентябре 1939 года в Польшу, развязав тем самым мировую войну, Германия рассчитывала на быстрые победы, что на первом этапе и случилось, окончательно затуманив головы немецким генералам. Польша сопротивлялась три недели. Австрия капитулировала, не оказав сопротивления. В апреле – июне 1940 года германские войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 мая 1940 года вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Страны Бенилюкс капитулировали через несколько дней. Франция, объявив Германии войну, сопротивлялась два месяца. В апреле 1941 года захватив территории Греции и Югославии, фашисты уже с примкнувшей к Германии Италией в июне 1940 года, оккупировали все страны Западной и Центральной Европы. Спесь немецких военных начальников улетучилась лишь только тогда, когда они напали на Советский Союз. Обычный дом в Сталинграде, «дом Павлова» как позже его назовут, будет обороняться дольше, чем иные западноевропейские страны, и не будет взят! Один дом!!!

Первые месяцы после нападения показали, что вторгшаяся на территорию России фашистская Германия обрекла себя на бесславное поражение. С первых дней войны, с первых сражений на границе, с осадой Брестской крепости врагом, бойцы Красной Армии доказывали, что нападение на Советский Союз – это для немцев не бравая военная прогулка по Европе. Для фашистской Германии нападение на Россию обернётся национальной катастрофой, разгромом и капитуляцией. Оказывая всё большее сопротивление наступающему противнику, наши войска всё же сделали главное: вражеская ударная группировка, рвавшаяся к Москве, была остановлена на подступах к ней и обессилена.

Вот и здесь, на Сталинградском фронте, упёрлись, всё, за спиной была река Волга.

Прошло несколько дней после той танковой атаки. Как-то, в период очередного затишья, личный состав взвода, в котором до своей гибели служил Александр Вяткин, снова собрался у блиндажа. Солдаты занимались своими делами, немногословный сержант Семёнов, словно разговаривая сам с собой, произнёс задумчиво:

– Голодное, сиротское детство, детдом... Может быть, выдуманная деревня, хлеб, молоко, картошка, родные – это была его мечта?

Сидевшие рядом пехотинцы не сразу поняли, о ком это сержант. Все отвлеклись от дел, подняли головы и почему-то посмотрели на старшину Ивана Булыгу.

– На письмах Вяткину должен быть обратный адрес? Адрес Насти? – с надеждой обратился сержант к Булыге. – Написать бы ей надо, рассказать, как погиб Сашка и где похоронен. Она ничего не знает, куда похоронку отправили. Уж, не в его ли деревню?

– Есть обратный адрес. Среди оставшихся у Вяткина документов политрук только три письма и нашёл, все от Анастасии Берестовой. Никаких писем из деревни от родственников не было. Придумывал всё Сашка, – сказал старшина.

Писать Анастасии Берестовой ответ приступили, сразу же, не откладывая. В письме труднее всего дались строчки, в которых нужно было сообщить, что Вяткин Александр Степанович погиб. На этом месте солдаты притихли, с трудом отыскивая нужные слова, а уж как погиб и где похоронен, подсказывали живее.

Вяткин погиб на бегу, в атаке. Юность ещё не ведаёт страха перед смертью, её храбрость безотчётна. По-иному к жизни начинают относиться уже с годами, обретая опыт. Вяткин был бесстрашный воин, на выстрелы не кланялся, долго бежал прямо. Надо бы перебежками, волнами. Первая линия нападающих залегла, встаёт вторая, когда вторая падает, поднимаются и бегут первая и третья. Враг не понимает, откуда атакующий возникнет – паникует.

Главное, ворваться в первый вражеский окоп – и немец побежит, боится немец русского рукопашного боя. Сашка принял пулю в грудь, немного не успев добежать до неприятеля. Но, приняв эту пулю уже у окопа врага, он спас жизнь двоим или даже троим бегущим за ним. Геройски погиб Сашка Вяткин. Похоронили его вместе с другими, в берёзовой роще на краю деревни, подобной той, что Сашка так любил упоминать в своих рассказах.

Написали Насте, ничего от неё не скрывая, сообщили и об убитых во время последней танковой атаки и похороненных рядом с Вяткиным.

В конце письма указали Анастасии Берестовой название села, защищая которое погиб Александр Вяткин. Возможно, Настя, та самая девушка с большими глазами, когда-нибудь захочет навестить его могилу и в тишине вспомнить его рассказ о деревне.

О письме Анастасии Берестовой доложили командиру взвода старшему лейтенанту Веловскому, который первым и подписал его, а затем и все остальные, и не только из взвода Вяткина.

Война, смерть, разлука с родными, их тёплые и ласковые письма из дома меняли людей на фронте. Многие из солдат признавались и каялись, что нередко до войны были грубы со своими матерями и жёнами, а сейчас в душе укоряли себя за это.

Немец в этот день бойцов не беспокоил, только изредка, должно быть больше от страха, выбрасывал одну-две мины в сторону позиций полка, не прицельно, потому как мины, не долетая, ухали где-то вдалеке.

Февраль 2020г.

Литературное наследство

Н.В. Нароков

Никуда

Роман

(Продолжение. Глава I – «Южный ветер» январь 2024г.)

Глава II

«Надо спасти Нину»

1

Считалось, что Дербышин живет у себя в деревне, в Вязьминках, а в Славгород только наезжает. Но на деле было не совсем так: послов смерти жены он по зимам жил в

деревне лишь урывками и недолгими наездами. Поживет неделю, редко — две, а после того уедет в Славгород или начнет ездить по уезду. Но и в Славгороде он тоже жил неподолгу: тоже неделю или две.

Когда он был в Вязьминках, ему всегда неотступно казалось, будто ему обязательно надо ехать в город, потому что надо повидаться с Поспеевым и выяснить его точку зрения на вопрос о предполагаемой реформе фабричной инспекции, узнать у Сердюкова его отношение к отставке Редигера,* замененного Сухомлиновым**, и обязательно надо побывать на бенефисе Агаровой:

— Агарова в роли Норы! Разве вы не понимаете, что это своего рода событие!..

Но в городе очень скоро начинало казаться (и так же неотступно), что надо скорее возвращаться в деревню, чтобы заняться «настоящей работой».

— В городе все это, в конце концов, пустая болтовня и *vanitas vanitatum!****

Кроме Вязьминок и Славгорода надо было два-три раза в зиму съездить в Москву и в Петербург, «повидаться с людьми», «войти в курс дел» и «получить руководящий компас». Всякий раз, когда он бывал в Петербурге, он неизменно посещал заседания Государственной Думы, непроизвольно чувствуя себя настолько близким ей, как будто он уже был ее депутатом. Но чем ближе он соприкасался с Думой, тем все больше оставался недоволен ею и, особенно, тем, как ее расценивают в правительственных кругах.

— Она настолько несерьезна, — уверял он тех, кому мог доверить свои еретические мысли, — что с нею считаются только из приличия, а на деле ведут себя так, словно никакой Думы и нет. Уверяю вас!

Но при этом строго и убежденно добавлял:

— А тем не менее ее значение несомненно! Пусть она не играет роли своей работой: зато она играет исключительно важную роль самым фактом своего существования!

Дети (Катя и Миша), когда они еще учились в славгородской гимназии, жили по зимам в Славгороде у своей тетки, сестры Варвары Викторовны. Сам же Николай Борисович, когда приезжал в Славгород, у свояченицы не останавливался: «Не хочу стеснять вас, я ведь принужден жить по-цыгански!» Он всегда останавливался в «Эрмитаже», где его давно знали и относились к нему с подобострастным уважением, над которым он понимающе посмеивался:

— По счетам плачу без проверки, чаевые даю не считая... Как же не уважать меня?

Окончив гимназию, Миша заявил отцу, что не хочет больше жить у тетки: у нее в доме слишком строгий тон. Николай Борисович сразу же согласился с ним и предложил ему довольно крупную стипендию: 100 рублей в месяц. А сам при этом подумал что Мише, строго говоря, жить без призора еще рановато, а лишние деньги будут ему, безусловно, вредны. Но ни одного слова своего сомнения он не высказал, а, напротив, высказал полную готовность;

Славгородская губерния была не из видных и не из бойких. Ни крупных людей, ни выдающихся деятелей, ни (даже) зычных крикунов в ней не было. Самыми сильными и активными партиями были правый, хотя их партии были не очень многочисленны и, главное, не имели резервов, которые могли бы давать пополнения. Либеральные партии были больше их количеством членов и примыкающими беспартийными, но были разрознены. Возможно, что за ними стояли довольно многочисленные массы, но эти массы были не то ленивы, не то инертны.

— Стоять-то они за нами стоят! — шутливо вздыхал один из лидеров славгородских «кадетов»*, видный адвокат Поспеев. — Но было бы лучше, чтобы они за нами шли.

Были в губернии и «красные». Вероятно, они имели влияние, но это влияние было скрытое, внутреннее и ничем себя не обнаруживало. Во всяком случае, Дербышин особенного значения им не придавал и, кажется, их недооценивал.

— Кто они такие? — рассуждал он. — В сущности говоря, они — самый наш несчастный, промежуточный межсловный слой: ни в городе Богдан, ни в селе Селифан!.. Полуинтеллигенция! Сельские учителя, земские статистики, фельдшера, недоучившиеся семинаристы... Это народ без особого горизонта и без высокого потолка над собой. Кое-каких брошюрок они, конечно, начитались, но — далеко ли на брошюрках уедешь?

Хорошо зная свой уезд, он справедливо считал, что большинство стоит за либеральными группировками, и что надо сделать то, о чем говорил Поспеев: надо сделать так, чтобы это большинство «не стояло за нами, а шло за нами».

— Людей надо взбодрить! — ничуть не сомневался он. — А для этого нам самим надо взбодриться!

Он вынашивал в себе идею создания прочного блока, в котором слились бы все прогрессивно-либеральные течения в губернии и который мог бы на выборах явиться значительной силой. Он еще весной начал исподволь говорить об этом с видными деятелями Славгорода, и его проект был встречен сочувственно. Но при этом было высказано естественное пожелание:

— Нужна программа этого блока, Николай Борисович, надо знать, на чем он построен. Вот возьмите-ка на себя инициативу и займитесь этим делом. Составьте проект, а тогда уж будет видно: как и что?

Частным образом составила маленькая комиссия по выработке этой программы блока: Дербышин, Поспеев и редактор «Славгородской Мысли», Караваев. Комиссия поручила Дербышину составить схему и набросать основные положения. Дербышин взялся за это дело, но предупредил, что раньше осени он с ним не справится.

— Хорошо! Осенью, так осенью... Особой спешки ведь нет!

. Он дал себе слово осенью «засесть и сделать», а пока что набрасывал кое-что для памяти. «Я не только отдельные положения перечислю, — загадывал он, — но и всю программу подробно напишу! Вот как только Миша уедет в город, я и засяду на месяц-полтора. Кстати, и с Ниной буду чаще видеться!» — произвольно подумал он.

Часто видеться с Ниной Павловной было и нетрудно, и трудно. Приезжать в Ольховатку Дербышин мог бы даже каждый день, но это было, конечно, недопустимо: «Нина не для уездных пересудов!» — очень решительно понимал он. Могло возбудить подозрение и то, что он приезжает хоть и редко, но всегда как раз тогда, когда Венедяпин уезжает в Суразов или в Славгород. Один или два таких приезда могли пройти незамеченными, но три или четыре заставили бы присматриваться и прислушиваться.

Нина Павловна никогда не требовала встреч. Она никогда не спрашивала его: — «Когда мы увидимся в следующий раз?» Но если ей удавалось остаться с Николаем Борисовичем наедине (хотя бы на две-три минуты), она говорила, сияя любовью, о том, как она каждый день ждет его: «А вдруг?»

— И вот сегодня — ты приехал!

И быстрым движением касалась щекой его руки.

«Куда ведет эта дорога?» Этого вопроса (и этими словами) Нина Павловна не задавала себе и даже не вспоминала его, потому что в ней была необдумываемая и неосознаваемая уверенность: дорога ведет. Внешняя жизнь ничем не изменилась, и Нина Павловна не знала, должна ли она измениться, и как она должна измениться. Но она радостно не сомневалась: скоро все станет по иному. И то, что оно ни в чем не становилось по иному, не смущало ее: иное придет. И ей было достаточно этой спокойной и тихой уверенности.

Григорий Григорьевич, конечно, не замечал ничего. Он, кажется, не допускал и мысли, что его жена может не любить его и может любить другого. Сам он давно был равнодушен к жене. В холостые годы (он женился, когда ему было уже за сорок) он, оберегая свою репутацию чиновника-педагога, изо всех сил старался вести себя «строго и безупречно», хотя женщины всегда волновали его, и он постоянно думал о них. Повышено похотливый, он наедине с собою любил погружаться в то, что он называл «мечтаниями». И эти его мечтания были неизменно полны извращенного воображения. Он преподавал историю в женской гимназии (инспекторство он получил позже) и каждый день перед ним были девочки, подростки и девушки. Он про себя называл их всех «деточками» и постоянно (но с очень блудливой осторожностью) засматривался на них и дразнил себя ими. В каждом классе у него была любимица, которой он ласково ставил пятерки: «Не за знания, а за ножки!» — приговаривал он про себя, выводя в журнале эту пятерку. Время от времени он, осторожно крадучись, ходил в один из публичных домов на окраине, но уходил всегда неудовлетворенный: «Уж больно это все у них по профессиональному! — досадовал он. — Никакой иллюзии нет!»

Нина Павловна после первого же знакомства взволновала его: ее несомненная чистота не могла не почувствоваться. Он сразу же начал распялывать свое воображение «мечтанием» о том, как захватывающе остро будет превратить эту чистоту в грязь. В 98-ом году ему предложили должность инспектора, и он, заняв это место, почувствовал себя увереннее и тверже: «Теперь и жениться можно!» — решил он. Месяца через два он сделал предложение Нине Павловне, а после Святков повенчался. Но оказалось, что он не встретил того, о чем мечтал: Нина Павловна была настолько сдержанна, что и его самого заставила быть сдержаннее. «У нас не супружеские ночи, — кисло жаловался он сам себе, — а какие-то невинные жмурки с барышнями в гостинной. Удивительно пресная женщина!»

Месяца через 3-4 после свадьбы он не выдержал и сходил в знакомый ему публичный дом. А потом стал ходить туда чаще, к жене же стал относиться небрежно и невнимательно. Но эта невнимательность не то, чтобы радовала Нину Павловну, а как-то успокаивала ее: она чувствовала себя легче и свободнее.

Получив наследство и переехав в деревню, он некоторое время сдерживал себя («нельзя же мне в моем положении давать пищу языкам!»), но скоро не удержался и завел себе в Суразове то, что Анна Наумовна называла «на стороне». Это была еще молодая вдова разорившегося булочника, женщина с некрасивой репутацией и с очень странным именем: Лукила Андреевна. Она пленила его тем, что была толстая и бесстыдная, а он ее пленил подарками и доходами: хоть он и очень бережно относился к деньгам, но не скупился тратить их, когда требовалось «поддержать достоинство». Однако, очень скоро

случилось так, что он, приехав, весьма недвусмысленно застал у Лукилы Андреевны писаря воинского начальника. Произошел крупный разговор, в котором ему было сказано:

— Вот — Бог, а вот — порог! Я Петеньку на тебя не променяю, кислый черт!

Венедяпин обиделся и «порвал». После этого, не заводя никакого другого постоянного «на стороне», он стал время от времени ездить в Славгород и там в кафешантане или в публичных домах подыскивал себе то, что он называл — «необыкновенное». Чтобы объяснить жене свои отлучки из дома, он придумал мифического князя Чугаева, который, якобы, живет под Славгородом на своей даче:

— Старик одинок и скучает! — объяснял он Нине Павловне, хотя та не только не требовала никаких объяснений, но даже и не выслушивала их. — Не могу сказать, чтобы и мне было у него особенно весело, но... но у него великолепная коллекция вин, и он, вообще, тонкий гурман.

— Почему ты никогда не пригласишь его к себе?

— Но я же говорил тебе: у него парализована правая нога, и он никуда не выезжает. Разве я не говорил тебе этого? Я вернусь в пятницу или, лучше сказать, в субботу. Не скучай без меня!

Нина Павловна не задумывалась над его отлучками, ни в чем его, не подозревала и, конечно, ничуть не ревновала.

2

В конце августа, чуть только Миша уехал, Дербышин принялся за работу по составлению программы блока. Хотя он все время уверял себя в том, что «все материалы, в сущности, готовы», на проверку оказалось, что никаких материалов даже нет, а есть только тощая папка, в которой лежат отдельные бумажки с обрывистыми мыслями без начал и без концов. Кроме этих бумажек были еще неясные воспоминания о нескончаемых разговорах на разные темы с разными людьми, но ни эти темы, ни мнения этих людей не были даже записаны. Приходилось начинать работу на пустом месте. Дербышин, насилуя себя, поработал с неделю, а потом вдруг сообразил, что 1 сентября в Славгороде открывается сезон и в оперном, и в драматическом театре. Он обрадовался и тут же решил, что обязательно поедет.

— Нельзя же пропустить! И какие они молодцы: в опере открывают «Онегиным», а в драме — «Горем от ума»! Это и красиво, и символично... Это определяет лицо!

Решив ехать на открытие сезона, он подумал о том, что было бы неплохо, если бы удалось соблазнить Венедяпина поехать вместе. «А если они поедут, то там уж как-нибудь выйдет, что я смогу побыть с Ниной наедине!» — весело решил он.

Венедяпин, выслушав его предложение, значительно пожевал губами, подумал и согласился. Дербышин в тот же день поехал в Славгород и пообещал обо всем позаботиться:

— И ложу вам на спектакль достану, и номер в «Эрмитаже» закажу.

— Да, благодарю вас! — величественно склонил голову Венедяпин. — Но номер... м-м... обязательно должен быть в бельэтаже и — три комнаты подряд. Не могу же я... И ложу в театре — тоже в бельэтаже!

— В «Эрмитаже» в бельэтаже! — засмеялся Николай Борисович. — Не беспокойтесь: самый бельэтажный бельэтаж в бельэтажном бельэтаже закажу!

Живя в деревне, Нина Павловна не позволяла себе туалетов и даже на именины (свои и Григория Григорьевича), когда собиралось много гостей, одевалась достаточно просто. Об этом тоже судачили. И Дербышин в первый раз увидел ее одетой обдуманно: нарядно, но умеренно. В дамских туалетах он не только не был знатоком, но был даже наивно доверчив, однако же разницу между строгим изыском и нагловатой экстравагантностью чувствовал безошибочно. Поэтому он сразу понял: то, что он видит, это не *dernier cri** зазнавшегося портного, а подлинный вкус, сдержанный и скромный. Из ста женщин, из которых каждая умеет «хорошо одеваться», только две или три оденутся так, как оделась Нина Павловна.

Он не сказал ничего, но Нина Павловна увидела то, что промелькнуло на нем, и счастливо улыбнулась. И подумала: «А ведь Григорий Григорьевич понимает только то, что на мне надет жемчуг его покойной тетки в 8 тысяч ценой!» И действительно: Григорий Григорьевич смотрел только на жемчуг, лежавший вокруг шеи жены, и не видел, как обвивает он шею и как спускается к слегка открытой груди.

Первые три вечера провели в театре. В театре, особенно в драматическом, Дербышин чувствовал себя своим человеком, любил быть знакомым с актерами и с актрисами, интересовался закулисными делами и вел разговоры с режиссером о новых постановках. За кулисами его любили, т. е. относились дружелюбно, но как бы снисходительно: «Все-таки мы — жрецы искусства, а ты — всего лишь помещик и член Земской Управы!»

После 3-го акта он не утерпел и ушел за кулисы познакомиться с новыми актерами: с тем, что играл Скалозуба и с той, которая играла Хлестову.

— Чрезвычайно выразительный и в то же время мягкий рисунок! — искренно похвалил он Хлестову.

— Меня даже и в Малый приглашали! — не замедлила похвастаться старуха. — Да уж больно я привыкла к провинции. Бог с ним совсем, с Малым-то!

Дербышин сделал значительное лицо («О! Даже в Малый!»), а сам подумал: «Я, кажется, еще ни одного актера не встречал, которого не приглашали бы в Малый или в Александринку, и который не отказался бы... Милые чудачки!»

На четвертый день должны были поехать слушать «Кармен», но перед обедом Венедяпин объявил, что его неожиданно вызывает к себе князь Чугаев.

— Старик узнал, что я в Славгороде, и требует, чтобы я приехал! — неудачно притворился он недовольным. — Придется ехать, ничего не поделаешь!.. Так это я вас попрошу, уважаемый Николай Борисович, принять на себя сегодня заботу о Нине Павловне... Это вас не затруднит? В театре и... и...

— Но... — немного заколебалась Нина Павловна. — Но удобно ли нам с Николаем Борисовичем быть в ложе одним?

— Ах, да! — спохватился Венедяпин. — В таком случае...

— Ничего! — быстро нашелся Дербышин. — Я попрошу Елену Викторовну поехать с нами. Знаете? Моя свояченица!

— Да... Елену Викторовну... Да, благодарю вас! — зажевал губами Венедяпин и потрепал себя за кадык. — Если с Еленой... м-м... Васильевной, то это, конечно, вполне допустимо.

— А когда ты вернешься? — спросила Нина Павловна.

Она спросила это очень просто, как спросила бы об этом каждая жена, муж которой уезжает. Но Дербышин уловил что-то в ее тоне. Он быстро скользнул по ней глазами и весело подумал: «А ведь она хочет того же, что и я!»

— М-м... — заколыхался и замялся Венедяпин. — Я постараюсь завтра к обеду. В крайнем случае, если князь чересчур закапризничает, то — послезавтра. Ведь неудобно же обижать старика!

Григорий Григорьевич уехал сразу после обеда. И когда он отъехал от гостиницы (и Нина Павловна, и Николай Борисович смотрели в окно и видели, как его понес прекрасный лихач), оба сразу повернулись друг к другу, слегка побледневшие и взволнованные. Смотрели и молчали, охваченные тем, что подошло к ним. Нина Павловна положила руки на плечи Николая Борисовича, и он схватил их.

— Мы вместе? Да? Одни и вместе?

Нина Павловна смутилась, но так просто и легко, что в Николае Борисовиче опять поднялось умиление и залило его. Он (это было видно) хотел что-то сказать, но не говорил ничего, явно сдерживая себя.

— Ну, что? Что? — угадала Нина Павловна. — Что ты хочешь сказать?

— Да, я скажу, но только... Почему это наши самые хорошие слова кажутся невозможными и опошленными? Почему мне трудно сказать тебе то единственное слово, которое есть во мне, и которое я так сильно чувствую!

— Какое слово?

— О тебе... Ты... — он запнулся. — Ты — неземная!

— Какие ты глупости говоришь! — счастливо рассмеялась Нина Павловна. — Удивительные глупости! Впрочем, это хорошо, это очень хорошо! — тряхнула она головой. — Пусть глупости! Это очень хорошо, если глупости!

— Шелуха... Ты понимаешь? Шелуха! — не совсем связно залепетал Дербышин. — У нас на всем шелуха: на нас, на мыслях, на словах... А за шелухой не видно ядра, не видно подлинного... Правда ведь? Ты — неземная, и только это слово я чувствую в себе, и только им могу выразить себя. — (Он крепко сжал пальцами ее руки около локтей). — А я ведь боюсь этого слова: дешевый романс, стихи гимназиста, комплимент приказчика... Да? Черт знает что! А скинь-ка шелуху с этого слова, и... какое оно чудесное! Как ты чудесное! «Не-зем-ная»! — любясь этим словом, повторил он.

— Да... Да! Шелуха! — совершенно поняв его, заулыбалась Нина Павловна. — И за шелухой не видно ядра.

Она заглянула в себя.

— Ия вот тоже...

— Что?

— Я... У меня ведь тоже есть слово. И когда я думаю о тебе, я всегда говорю его себе. Но на нем тоже шелуха, ужасно много шелухи, смешной и жалкой. А я... я никакой шелухи не вижу, и вижу его только таким, каким оно есть воистину. Воистину!

— Какое слово? — почти проникновенно не спросил, а попросил Дербышин.

— Ты... Ты — ненаглядный! — шепотом призналась Нина Павловна. — И это правда, это совсем правда, это самая настоящая правда! — заторопилась она, стараясь не то убедить его, не то в чем-то оправдаться перед ним. — Ты — ненаглядный. Вот именно так: ненаглядный!

— Я... Я не могу! — обессиленно признался Николай Борисович. — Я... У меня сейчас слезы на глазах, потому что... Ведь я так люблю тебя, что не могу вместить эту любовь. Она — через край! Она...

Он притянул к себе Нину Павловну и крепко, что есть силы, прижал ее. Стоял молча, без движения, чувствуя ее прижавшееся тело, ее теплоту, ее дыхание. Страсти не было, а было тихое и радостное, счастливое и глубокое.

Часы негромко и мелодично прозвенели свои удары.

— погоди! — спохватилась Нина Павловна. — Ведь мы... Какие мы глупые! Нам ведь в театр надо ехать и надо еще успеть заехать за Еленой Викторовной... Сколько это сейчас? Уже шесть? Но мне же одеваться пора... Когда там начало?

— В восемь... Но...

— Что? — очень быстро спросила она, зная что он скажет, и заранее радуясь тому, что он скажет.

— Но, может быть, мы не поедem в театр? — очень робко спросил Дербышин.

— Не поедem? Ты не хочешь? — расцвела Нина Павловна. — Не хочу. Очень не хочу. А ты?

— И я... тоже! — опять смутилась она, но справилась с собой. — А знаешь, — удивительно искренно и непосредственно призналась она, — ведь если мы не поедem в театр, то это уж... до завтра!

— Что «до завтра»? — и понял, и не понял он.

— До завтра! — повторила она, не пряча глаз. — Ты не уйдешь от меня до завтра!

Она сказала, и все, что было вокруг, сразу окуталось для них обоих новым смыслом. Даже комната стала по новому иной, даже стены стали иными. А это простое «до завтра» понялось, как долгое, непрерывное и чуть ли не бесконечное: на всю жизнь.

И Николай Борисович с непередаваемой остротой и полнотой понял, как дорога ему эта женщина: до конца дорога, без конца дорога.

3

Вернувшись из Славгорода в Вязьминки, Дербышин засел за программу блока. Сначала работалось приятно, но недели через две интерес стал падать. Дербышин не сдавался и заставлял себя работать с прежним упорством, но странные мысли стали приходить ему в голову. Чем точнее он формулировал некоторые положения, и чем прочнее он увязывал их с общей идеей программы, тем более бездельной казалась ему эта работа. «Неужели жизнь народа может хоть на полволоска измениться, если Николай Борисович придумает вот то-то, Владимир Алексеевич добавит вот это, а милейший мсье Караваяев со всем согласится? Неужели моя работа имеет значение и хоть чему-нибудь послужит?»

Мысль о том, «какое в этом значение?» очень часто и по разным причинам приходила к нему. Что имеет большее значение? На каких весах и какими гирями можно взвесить это значение и определить: вот это — важнее, а вот это — самое важнейшее. «И почему мы так редко задумываемся именно над значением? Ведь может быть, вся эта программа блока и сам блок — 80 тысяч верст вокруг самого себя, и ничуть не больше?»

Но тотчас же появлялась и другая мысль: ведь если не будет объединения прогрессивных сил, то на будущих выборах смогут победить правые или красные. Возможность такой победы (без обдумывания и без критики) казалась ему абсолютно

невозможной: «Это же будет катастрофа!» — совершенно искренно пугался он, видя в победе красных или правых по меньшей мере катастрофу. И он (словно сил в нем прибавлялось) опять начинал работать, удивляясь тому, что дело так медленно подвигается вперед. «Уже октябрь, а у меня и половины еще не сделано!»

Раза два он заезжал в Ольховатку, но всякий раз хитрил перед Макаром: подстраивал так, будто едет совсем в другое место, а в Ольховатку заезжает только так, по дороге. Оба раза он заставал Григория Григорьевича дома и тогда как-то всплашивался, начинал чувствовать себя неуверенно и обязательно пояснял, почему это он заехал.

— Денис Волгушин в Волновахе, представьте, какую-то совершенно новую веялку изобрел... Без барабана! — немного сбивчиво говорил он Венедяпину. — Не слыхали о Денисе? Самоучка-изобретатель, самородок... И ему теперь нужно рабочую модель построить, а денег у него, конечно, нет. Ну, лес я ему дам, а вот на все остальное ему рублей 100 надо! Так я вот сейчас делаю сбор по уезду: кто что может! Я и сам мог бы субсидировать его, но мне кажется, что общественная поддержка и ценнее, и патриотичнее! — неожиданно выпаливал он, совсем уж сбиваясь: «Что за чушь я несу!»

— М-да! — важно соглашался Венедяпин. — Я, конечно... Я... Рублей 10? 15? — строго взглядывал он. — Но только пусть староста следит за ним, чтобы он эти деньги не пропил! А в церковь он аккуратно ходит?

Улучив минуту, Дербышин пытался договориться с Ниной Павловной, сам плохо понимая, о чем им надо договариваться.

— Ведь уезжает же иной раз Григорий Григорьевич, ведь остаешься же ты одна! Почему ты не хочешь держать меня в курсе того, что делается здесь, у вас. Я бы приспособливался и...

— Молчи! Молчи об этом! — умоляла Нина Павловна и так краснела, словно он требовал от нее чего-то недопустимо дурного. — Ну, как это я напишу тебе: мужа завтра не будет дома, приезжай. Да у меня рука такого не напишет!

— Ты права, конечно, но... Но разве мы с тобой виноваты, что иначе нельзя!

— А разве... нельзя?

Николай Борисович очень хорошо понимал все, что заключалось в этом коротком и недосказанном вопросе, понимал, что в нем заключается очень многое и очень важное для них обоих, но поспешно отходил от «иначе». Он знал (внутренне знал), что «иначе» — надо, обязательно — надо, во что бы то ни стало — надо, но в то же время заранее пугался его. Оно обязывало к большому, к трудному и, главное, к такому, что мешало основным задачам и целям его, Дербышина. Нина Павловна не настаивала на своем вопросе и ничуть не требовала ответа, но Дербышин понимал, что нужный ответ он обязан дать. И то, что он не только не давал ответа, а словно бы трусливо отходил от него, раздражало его и заставляло чувствовать себя виноватым. «Но как же можно иначе? — украдкой спрашивал он себя. — Ведь если иначе, то тогда и земскую работу надо будет, оставить, и от всех общественных дел отказаться, а о Думе и забыть надо будет! Ведь если она оставит Григория Григорьевича и начнет жить со мной, то тогда уехать придется: заклюют господ моралисты! И если — иначе, то тогда уж все иначе, вся жизнь иначе!» И когда он, окончив визит, отъезжал от ольховатского крыльца, то чувствовал облегчение, в котором не сознавался себе.

«Конечно, Нина права! Конечно, так дальше продолжаться не может, а надо иначе! — беспокойно думал он по дороге. — Все надо поставить совсем на другие рельсы и...

кувырком! Но ведь для меня это не просто «кувырком», а что-то такое... Ренегатство! Измена! А к тому же у меня уже и дети взрослые, так что развод или что-нибудь в этом роде будет даже смешно!»

В начале ноября он начерно закончил программу и съездил в Славгород условиться с Поспеевым и с Караваемым. А на обратном пути опять заехал в Ольховатку и опять застал Григория Григорьевича.

«Так дальше нельзя! Так нельзя! — мучительно думал он, возвращаясь домой. — Нина ничего не говорит, ничего не требует и ни о чем не просит, но я ведь вижу. И она совершенно права: дальше так нельзя. Это и недостойно, и пошло, надо все иначе, но... как? как?»

Он твердо решил, что дома он все обдумает и придет к решению. Но на другой день он узнал, что умер Лев Толстой. Это его взволновало, и он почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии и жажды деятельности. «Ах, Боже мой! Боже мой!» — повторял он себе, бегая из угла в угол по кабинету. И решил немедленно ехать в Москву. «Нельзя же тут сидеть, если Лев Толстой умер!» И, не отдавая себе отчета, зачем ему так обязательно надо ехать в Москву, он в тот же день выехал.

В Москве он провел три недели. Возможно, что он уехал бы и раньше, но начались «события» или, вернее сказать, то, что он называл событиями: уличная демонстрация с траурными флагами и студенческая забастовка. Все это (так он понимал и чувствовал) требовало от него какого-то участия, потому что и демонстрации и забастовки возмущали его:

— Пародировать 905-й год только оттого, что умер великий гений, это и недомыслие, и преступление! — горячился он. — Но для наших революционеров здравый смысл ничуть не обязателен. Им надо одно: «долой самодержавие!» А — как, зачем и для чего, это их не касается!

Ему удалось присутствовать на одном собрании «защитников дверей», т. е. тех студентов, которые организовывали у дверей аудитории охрану и не допускали сторонников забастовки, приходивших, чтобы сорвать лекции. На этом собрании он сказал короткую речь о законности и о правовом порядке, а после собрания (очень радушно, но не очень уверенно) предложил всем «поехать куда-нибудь и выпить за успех разумного дела». Студенты отвезли его в отдельный кабинет какого-то рестораника. Сначала Николай Борисович был очень доволен, умно и красиво говорил, а потом начал чувствовать себя совсем нехорошо, потому что все вокруг него вдруг сразу сделались пьяны и в кабинете появились «девицы». Он сослался на головную боль, щедро расплатился за всех и поспешил уехать.

На обратном пути он на несколько дней остановился в Славгороде: надо было начать обсуждение программы. Но с самого начала обсуждение остановилось на некоторых пунктах, но почему-то не на самых главных, а на третьестепенных: надо ли, например, поднимать в программе блока вопрос о землеустроительных комиссиях? Надо ли в отдел о финансах России включать вопрос об Обществах Трезвости?

Состоялось два расширенных совещания, но ни к какому соглашению совещающиеся не пришли. Местные кадеты во главе с Поспеевым настаивали на включении всех этих вопросов в программу и требовали «ориентировочного решения их», а октябристы и мирнообновленцы* (во главе с Дербышиным) утверждали, что нельзя перегружать программу второстепенными вопросами, как бы ни было велико их

принципиальное значение. Спорили упорно, но в то же время вяло и безо всякого задора. Чувствовалось, что спорят больше из партийного самолюбия, чтобы «наша взяла», и что суть дела в спорах стоит как-то в стороне. Было видно, что если бы можно было сделать так, чтобы принять точку зрения противника, ни в чем не поступаясь своей точкой зрения, то это было бы как раз то, чего все хотят. А с землеустроительными комиссиями пусть будет хоть так, хоть этак.

Адвокат Поспеев, крупный, красивый мужчина лет под 50, одевавшийся с подчеркнутой элегантностью и отличавшийся немного актерскими манерами, был негласным лидером правого крыла местных кадетов. Но во всем том, что он утверждал, чувствовался больше стиль, чем убеждение.

— Такому *bel homme*'у***, как наш милый Владимир Алексеевич, — говорил Дербышин, — пристало быть или безукоризненным консерватором во вкусе английских тори, или умным фрондером. Но наш российский консерватизм насквозь провонял чайной Союзу Русского Народа, а поэтому для Владимира Алексеевича один путь: фронда.

Редактор местной либеральной («надпартийной») газеты, Караваев, высокий, бородатый и нескладный, в силу надпартийности своей газеты всегда считал себя обязанным играть роль примирителя, причем основой примирения он считал компромисс:

— Всегда надо такое «ни вашим, ни нашим» придумать, — утверждал он, — чтобы оно издали было похоже на «и вашим, и нашим». А если такое будет найдено, то чего ж больше желать?

Он искренно верил в то, что ни один жизненный вопрос, как бы глубоко и болезненно ни сидел он в толще народной жизни, совсем не надо решать по существу, а надо решать именно в порядке согласования партийных программ и, главное, в порядке согласования взглядов отдельных лиц. Он вел себя так, будто для удовлетворения мужицких страстей и требований, явных и скрытых, совсем не надо думать об отчуждении помещичьих земель и об отрубках, а надо найти такую формулу, которая удовлетворила бы и Владимира Алексеевича, и Николая Борисовича. А когда эта формула будет найдена, надо всем пойти в «Унион» и там умеренно выпить «за умную формулу перехода к очередным делам». После же этого ни отрубка, ни помещичьи земли интересовать и волновать больше не должны.

4

Дербышин собирался уезжать на другой день вечером, но после обеда Поспеев протелефонировал ему:

— А вы знаете: Модест Петрович приехал.

— Разве? — обрадовался Дербышин. — Когда же?

— Оказывается, еще вчера. И сразу, конечно, поехал к своей Милитрисе Кирибентьевне. А утром прислал мне записку: просит вас и меня быть сегодня вечером в Шато де Флер.

— Старый греховодник! — рассмеялся Дербышин. — Нашел же место для встречи!

— Для таких трех мушкетеров, как мы, место самое подходящее... Будете?

— Непременно!

Про председателя суразовской Земской Управы, Модеста Петровича Балаханова, говорили так: «По всей стати должен быть председателем, потому что уж больно представителен!» В сочетании звуков «стати-седатель-ставитель» было что-то немного игривое, но эта игривость шла к Модесту Петровичу: при породистой барской внешности он был величественно-легкомысленен. Но легкомысленность его была такого солидного и красивого тона, как будто являлась обязательной принадлежностью его представительности. Было ему немного за 60, собою он был плотен, крупен и высок. Большую и уже поседевшую бороду носил на-двое, движения имел независимые и говорил очень громко. Позы у него были мягкие, но властный, а суждения настолько красноречиво незаконченные, что с ним всегда не только соглашались, но соглашались даже с удовольствием. Про себя он говорил, что он — «старый гусар»: всю жизнь прослужил в одном из полков с наилучшими традициями и при отставке получил генеральский чин, а поэтому с немного наивным удовольствием любил, чтобы его величали — «Ваше Превосходительство». Был вдов, бездетен (его сын был убит в Японскую войну) и с красивой беззаботностью проживал свое довольно большое состояние: «Беречь не для кого и не для чего».

Он сидел в общей зале славгородского кафешантана «Шато де Флер» и в ожидании прихлебывал из стакана свой любимый лафит.

— А когда Николай Борисович и Владимир Алексеевич приедут, тогда мы уж троим программу ужина и обсудим! — очень громко (полковая привычка) и сочно объяснял он метрдотелю с таким видом, будто не сомневается в том, что тот хорошо знает, кто такие Николай Борисович и Владимир Алексеевич.

Он потягивал свой лафит и снисходительно поглядывал на сцену. Певица с очень пышными формами и с преувеличенно низким декольте пела по-французски что-то игривое и завлекательное, подпрыгивая и пританцовывая на припеве. Ея партнер, эксцентрик в широких клетчатых панталонах и в нелепом зеленом фраке, делал бесстыдные движения и получал пощечины в такт песенке.

«Старайтесь, старайтесь! — улыбался про себя Балаханов. — Я в Марселе и не такое видывал, а про Париж и Вену и говорить нечего!»

Когда Поспеев и Дербышин пришли, он им шумно обрадовался.

— Ну, вот! Ну, вот! — встал он с таким видом, будто был у себя дома, и будто вокруг не было посторонних. — А я здесь чуть ли не целый час прохлаждаюсь в одиночестве. Теперь, значит, можно и боевую кампанию начинать, так? Кто сегодня тамадой будет? Вы, Владимир Алексеевич?

— Увольте, милый: устал.

— Николай Борисович?

— Простите: лень.

— Значит, мне одному за всех отдуваться?... Хорошо, ладно, бьен! В таком случае я такое предлагаю, господа: сначала мы посидим троим, без дам. Поужинаем по-холостому, а потом — посмотрим!

— Отлично.

— Так я начну распоряжаться.

Он начал заказывать ужин, причем заказывал его так серьезно и вдумчиво, что метрдотель заразился его серьезностью. Он подробно расспросил о каком-то тюрбо, в чем-то долго сомневался, о чем-то раздумывал и даже ходил на кухню, чтобы «самому

посмотреть». Вероятно, то, что он там увидел, его чем-то не удовлетворило, потому что он начал передумывать, кое-что отменил и составил совсем другое меню. Долго сомневался: заливать ли омары соусом борделез и можно ли доверять тому нюи, которое ему очень рекомендовал метрдотель, но которого он не знал.

Когда, наконец, метрдотель ушел, он (немного заговорщицким тоном) объявил:

— А сегодня у них дебютирует Лола Грац. Танец серпантин.

— Кто такая? — равнодушно спросил Дербышин.

— Я про нее слыхивал... Она прошлой зимой в Пензе была, и мой кузен из-за нее ба-альшую неприятность от супружницы имел. И зря! — фыркнул он. — Совершенно зря! Ничего он у этой Лолы не добился, потому что она там вдового князя Ноксаева с его родовыми алмазами обстреливала. Фигура у нее, говорят, — умереть!

— Ладно! Посмотрим! — снисходительно согласился Поспеев.

Первую рюмку водки выпили молча, сосредоточенно, со вкусом. Балаханов перекинул ее в себя и громко крякнул.

— Прошу прощения! — поспешил извиниться он. — Гусарская привычка! Оно, конечно, моветон так крякать, но у нас в полку это было принято. *Couleur locale!**

— Ничего! Крякайте на доброе здоровье! — мирно разрешил Поспеев.

— Водка, ежели ее со вкусом и с пониманием пить, очень содержательная штука. А? — широким жестом показал Балаханов на графинчик. — И очень мне удивительно: почему это наши поэты обходили ее, словно она недостойна? Ну, Денис Давыдов не забывал (гусар!), а вот остальные-то все больше пунш и шампанское воспевали. И даже Пушкин о ней ни одним словом не обмолвился.

— Нет, обмолвился! — встрепнулся Дербышин. — В «Графе Нулине», забыли? «Эй, водки! Граф, прошу отведать!»

— Черт! — восхитился Балаханов. — И все-то он знает, все-то он помнит! Ну, ладно... Пока эта Лола не вышла, давайте наляжем немножко: на красивую фигурку я люблю подшефе смотреть: вкуснее тогда.

Начался номер Лолы Грац. Она стояла перед черным бархатным экраном, одетая в одно белое трико, и держала в руках концы широких, белых же, полотнищ из легкой материи. Свет в зале и на сцене потушили, а спереди на Лолу начали бросать луч из прожектора: то красный, то зеленый, то огненно-желтый, то разноцветный. Лола махала в такт музыке руками, и широкие полотнища, сами становясь то красными, то разноцветными, красиво переливались волнующимися каскадами.

— М-да! Действительно! — промычал Поспеев. — Фигурочка!

Трико ничем не скрывало линий тела, а резкий свет выделял их. Лола стояла на одном месте, неподвижная и вытянувшаяся, и только ее руки бросались и взметывались то в стороны, то вверх, то вниз, да ее лицо меняло выражение, подчиняясь музыке: сейчас — нежное, через полминуты — строгое, а еще через полминуты — обещающее и призывное. Дербышин смотрел на нее, и она привлекала его чем-то, чего он не мог уловить. «Что в ней есть? — с непонятым напряжением спрашивал он себя. — В ней есть что-то такое, что меня сейчас волнует. Что?»

— А ведь она, — нагнулся к нему Поспеев, — ужасно на Венедяпину похожа. Вы не находите?

И неуловимое сразу уловилось. Не только лицом, не только всем телом Лола была похожа на Нину Павловну, но и меняющимся выражением лица. Дербышин узнавал ее во

всех изменениях Лолы: и тогда, когда та была строгой, и когда она становилась нежной, и тогда, когда в ее лице появлялось призывное и обещающее. Он поморщился, как бы от боли, и отвернулся: Лола стала ему неприятна и даже враждебна, как будто она оскорбила в нем что-то.

— На Венедяпину похожа! — шепотом повторил свою догадку Поспеев Балаханову. — Не правда ли?

— А? — слегка оторвался тот от сцены. — Да, да! — спохватился он. — Совершенно правильно: удивительно похожа! Удивительно!

И оба (так стало казаться Дербышину) начали смотреть на Лолу как-то иначе, по особенному. Как будто бы то, что она «на Венедяпину похожа», сделало ее для них по новому интересной и по новому привлекательной. Дербышин искоса посматривал на них, и хотя он плохо видел в затемненном зале их лица, ему казалось, будто он отчетливо видит на этих лицах пробудившуюся похоть: не оттого, что их возбуждала сама Лола, а оттого, что она «похожа на Венедяпину». Он знал, какие мысли сейчас пробегают и в Поспееве, и в Балаханове, и словно бы что-то злобное зашевелилось в нем. «Черт знает, что такое! — взволновался он. — Как будто, Нина купается, а они подглядывают в щелку»... И ему нестерпимо захотелось, чтобы номер Лолы скорее кончился, и чтобы она ушла со сцены.

— Фигурка-то! — маслянисто заметил Балаханов, не поворачиваясь и не отрывая глаз от Лолы.

— Фигурка фигуристая! — отозвался Поспеев. — И — как бы ее назвать? Не «изящная» и не «красивая», а... Модест Петрович, как?

— Порочная! — понимающе нашел эпитет Балаханов.

— Гм! А ведь вы правы... зело порочная фигура!

Дербышину стало нехорошо: «Порочная? У Нины? Впрочем, они ведь не про Нину!» И ему захотелось сейчас же увидеть Нину Павловну и поцеловать ей руку.

И тут же зашевелилось в нем то ощущение вины, которое и раньше иной раз беспокоило его. Он почувствовал себя виновным в том, что Поспеев и Балаханов разглядывали почти голую Лолу-Нину. «Но разве я в этом виноват? В чем я виноват?» — попробовал защититься Дербышин, но защититься не смог. Ощущение виновности продолжало щемить и тревожить. Он тоскливо сдвинул плечи.

С закусками Балаханов распорядился отлично: не обильно, но тонко, подобранно и «содержательно», как выразился Поспеев.

— Мне кажется, — дирижировал Балаханов, — что вот под это грибное сотэ следует выпить очищенной с пикомом, а под язычки — старки! Они ведь очень острые, эти язычки, а поэтому и требуют чего-нибудь посильнее.

Дербышин пил, закусывая, но тоскливое чувство не проходило: хотелось уйти, остаться одному и начать думать о Нине Павловне.

Поспеев и Балаханов начали говорить о женщинах, вспоминать разные эпизоды и очень громко смеяться. Потом Балаханов вспомнил что-то и засиял.

— Погодите! — так громко сказал он, что за соседним столом оглянулись. — Я вам сейчас такое расскажу, что вы пальчики оближите! История необычайная и даже поучительная, если желаете знать! Да-с!

— И он стал рассказывать явно выдуманную историю о том, как он в 1872 году («Я еще корнетом был!») попал на какой-то хутор, и как хозяин этого хутора «чуть ли не застукал» его со своей женой. Он рассказывал оживленно, поворачивая голову то к

Поспееву, то к Дербышину, размахивал вилкой и совсем перестал есть, а только выгадывал паузы между словами, чтобы прихлебнуть из рюмки. Он так независимо гремел своим зычным голосом, что за соседними столиками начали откровенно прислушиваться. Он заметил это и остался очень доволен. Раза два, как бы невзначай, он даже повернулся к одному из прислушивающихся и сказал прямо ему какую-то эффектную фразу. Когда он подошел к финалу, который был не без остроумия построен, все засмеялись. Засмеялись и за соседними столиками. Балаханов, весело блестя глазами, повернулся к ним и сказал совсем непринужденно, как знакомым:

— Сейчас-то я и сам готов смеяться, но тогда... Вы понимаете?

Дербышин старался не слушать его. Он никогда не был противником мужских разговоров за рюмкой вина и даже любил эти разговоры, но сейчас рассказ Балаханова показался ему оскорбительным. Ему казалось, будто Балаханов рассказал выдуманный эпизод именно оттого, что «Лола похожа на Венедяпину». В такой догадке не было ни логики, ни смысла, но догадка вцепилась и назойливо зудила. Странное раздражение начало беспокоить его, и он поддался этому раздраженно против Поспеева и Балаханова.

— Интересно знать, выйдет ли Лола в зал? И с кем? — мечтательно спросил Поспеев. — Интересно было бы посмотреть на нее в платье.

— М-да! — хитро прищурил глаза Балаханов. — Я теперь, пожалуй, понимаю своего пензенского кузена... Эта Лола ай-люли разлолистая! А похожа ли она и вблизи на Венедяпину, хочется мне знать!..

— Возможно, что и нет!

— М-да... Этому кисляку Венедяпину, — продолжал Балаханов, прислушиваясь к каким-то своим мыслям, — определенно повезло: прелестная у него жена! Конечно, я сейчас в Дон Жуаны и в Ловласы не гожусь, но если бы мне сбросить с плеч пару десятков лет, я показал бы сухарю, где раки зимуют... Уж от меня Нина Павловна не отвертелась бы...

Поспеев искоса глянул на Дербышина: случайно и мельком. И понял: если он сам сейчас не скажет чего-то очень решительного, то скажет Дербышин, а тогда будет нехорошо. Он дотронулся до обшлага Балаханова и плачущим голосом, полушутя, полу-серьезно сказал:

— Модест Петрович... Ради Бога! Не будем говорить о достойных женщинах — здесь!

— А? — спохватился и даже немного испугался Балаханов. — Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня! Совершенно верно, совершенно верно...

Он быстро замигал глазами и с шумом выпустил из груди воздух.

— Ф-ф-у! Даже как-то неприятно стало! — чистосердечно признался он. — Язык мой — враг мой! Вот как сбрешешь что-нибудь, а потом и сам не рад! Ну, да ладно: я уж потом у Нины Павловны сто раз ручки поцелую. Конечно, она — предостойнейшая!

У Дербышина немного отлегло от сердца, и он примиренно посмотрел на Балаханова.

5

Чем больше пили, тем чаще разговор перескакивал с одного на другое, и интерес уж не мог долго задерживаться. В зале стало значительно шумнее: никто не кричал, но все стали говорить громче, напряженнее и несдержаннее. То здесь, то там взрывался смех,

короткий и обрывистый. Если бы кто-нибудь вслушался со стороны, то, вероятно, не мог бы понять, что означает этот поднятый шум голосов, стук ножей и вилок, звон рюмок и стаканов. И совсем уж непонятно было, зачем в этот гул врывается прыгающая, деланно веселая музыка.

Ложь (и внизу, и наверху) уже все наполнились. Было душно, пахло табачным дымом, вином, духами, пудрой и «несомненно греховным», как определил Балаханов. Женщины, красивые и некрасивые, молодые и уже немолодые, были одеты вызывающе и ярко. Между ними заметно выделялись те, которые не были «посетительницами», а пришли сюда с мужьями или в своей компании, под предлогом «посмотреть». Постоянные посетительницы безошибочно распознавали их с первого взгляда и смотрели на них с ироническим недружелюбием.

— Ге-ге-ге! — вдруг немного привстал с места Поспеев, рассматривая одну из лож наверху. — Григорий Григорьевич Венедяпин, собственной персоной!

Дербышин поднял голову. В ложе, за столиком, приставленном к самому барьеру, сидел Венедяпин с какой-то толстой женщиной в темно-красном бархатном платье. Он уже много выпил и, хоть еще не был пьян, но, видимо, сильно посоловел. Толстая женщина (ей было очень жарко) обмахивалась веером из облинялых и потрепанных страусовых перьев, играла подведенными глазами, покачивала несуразным эспри* на прическе и вся блестела фальшивыми блестками.

— Он в городе? — изумился Дербышин, сразу схватываясь какой-то мыслью или, вернее, соображением.

— Как видите! Очевидно, соскучился в деревне и приехал поразвлечься. Он ведь любит такие рикошеты в сторону от добродетели.

Все трое стали так пристально смотреть на ложь, что Венедяпин почувствовал их взгляды и тоже посмотрел в их сторону. Увидел, узнал и, собрав в себе остатки трезвого понимания, сделал приветливое лицо, притворно и кисло улыбаясь... Толстая женщина тоже посмотрела вниз и, видимо, недовольная, спросила Венедяпина о чем-то.

— Однако, и вкус же у него! — присвистнул Поспеев. — Это уж не «полюбив четыре пуда нежно-девичьего мяса»*, а «полюбив шесть пудов дрябло-старческого сала»...

— Кто любит попадью, а кто — свиной хрящик! — философски заметил Балаханов и откинулся на спинку кресла. — Любовь зла, полюбишь и козла! — шумно вздохнул он.

Дербышин, делая вид, будто внимательно слушает, быстро соображал: «Значит, Нина сейчас одна в Ольховатке... А, может быть, она тоже в Славгороде? Это надо узнать! Это непременно надо узнать!» Он несколько раз улыбнулся в сторону лодьи Венедяпина и с шутилой укоризной погрозил ему пальцем: «Ай-я-й!»

— Пойду, посмотрю поближе на эту красавицу! — смеясь, сказал он и встал из-за стола.

— Ну-ну! — одобрил его Балаханов. — А потом расскажете нам.

— Обязательно.

Дербышин вошел в ложь. Венедяпин встретил его явно недоумевающим взглядом («Чего это ты, собственно, пришел сюда?»), но тотчас же спохватился, сделал приветливое лицо и даже попытался приподняться на стуле.

— Николай Борисович... М-да! Очень приятно...

— Вижу и вас здесь, в вертепе Венеры погребальной! — притворился веселым Дербышин и, лукаво играя глазами, повернулся к толстой женщине. — Bonsoir, mademoiselle!

— Бонсуар! — хрипло и басовито ответила та, без церемонии оглядывая его своим профессиональным взглядом.

— Это... Марго! — нашел форму, чтобы познакомить Венедяпин. — Мы с нею премило проводим время и... м-м... веселимся! Стаканчик вина?

— Благодарю вас! Я уж, кажется, навинился предостаточно.

Марго с испытующей подозрительностью посмотрела неприязненным взглядом: может быть, этот «барин» как-нибудь помешает ей и уведет Венедяпина от нее? Она поправила платье на плече и приняла холодно неприступный вид: опустила книзу глаза и поджала накрашенный губы.

— Давно в Славгороде? — беззаботно спросил Дербышин, подсаживаясь к столу.

— Позавчера... Много, знаете ли, дел накопилось и...

— Да, я вижу! — рассмеялся Дербышин. — Дел у вас много!

— Нет, я не об этом, конечно! — скривился Венедяпин. — Это только так... Пур пассе ле тан!* — скверно выговорил он по-французски. — Надо было в банке посчитаться, к доктору заехать и... вообще!

— А Нина Павловна? — небрежно спросил Дербышин.

— Она в деревне осталась. Вы ведь знаете: она, так сказать, не любит города.

— Разве? Да, впрочем, вы правы: у нее есть склонность к уединению и одиночеству.

— Вот именно: к уединению... И к одиночеству!

Венедяпин старался держаться и говорить твердо, но его уже разморило, и ему было трудно притворяться трезвым. Как он ни старался, нижняя губа все время отвисала, мускулы рта не держались, а дрябло отвисали вниз, глаза были мутные, и волосы, слегка уже сбившиеся, слипались и торчали. Даже кадык выглядел не величественно, а очень нелепо.

Он сказал последнюю фразу и, кажется, обессилил настолько, что весь опустился в кресле как мешок с мякиной. Он (хотя его веки держались с трудом и слегка дрожали) уставился глазами на Марго: тупо, но похотливо.

— Это Марго... — еще раз пояснил он. — Мы уже не в первый раз встречаемся с нею, и... Редкостная женщина!

Марго вскинула на Дербышина понимающий взгляд и попробовала кокетливо улыбнуться. Дербышин посмотрел на ее толстые руки, на блестящие от пота плечи и слегка передернулся: «Ну-ну!» Краска и пудра на ее лице смешались и лежали грязноватыми пятнами. Старое бархатное платье, полинявшее подмышками, было слегка тесно ей, и от этого обтянутые складки жира обозначались под ним туго и выпукло. «А ведь твои дела уже совсем плохи, голубушка! — даже с участием подумал Дербышин, дружески улыбаясь ей. — Ничего, ничего! Облапошь-ка этого кавалера как следует, у него денег много!» И он посмотрел на Марго так благожелательно, что та поняла его взгляд и успокоилась.

— Долго думаете пробыть в Славгороде? — все так же рассеянно спросил он, как будто спрашивает только для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, вот именно... Впрочем, не знаю! — с трудом сообразил Венедяпин. — Завтра... нет, послезавтра... Когда у нас понедельник?

— Послезавтра... Сегодня ведь суббота.

— Да, суббота... И в понедельник ко мне должен приехать Рыбников... Знаете? Я у него купил л-ландо и лошадь... Караковую! И в понедельник он должен приехать за деньгами... Девятьсот рублей! А я бы хотел еще здесь остаться, потому что...

— Ну, подождет ваш Рыбников!

— Да, конечно... И сумма ведь пустячная... Я, собственно говоря, и поехал в банк за деньгами для него, но... но вот Марго... Вы говорите, что он подождет? Да, конечно... Но как-то неприятно все-таки: Венедяпин — (подчеркнуто произнес он свою фамилию) — и вдруг задерживает платеж какому-то Рыбникову! Ноблесс оближ* и... Я думаю, благоразумнее все-таки поехать!

— Вот и я то же самое говорю! — очень твердо выговаривая, вмешалась Марго. — Подождет ваш купец, ничего ему не сделается! А зачем же себе в полном удовольствии отказывать ради купца?

— Подождет? Да? Ты думаешь, Маргоша, что он подождет?

— Знаете, что? — вдруг очень живо предложил Дербышин. — Я все равно завтра домой еду, так, если хотите, в понедельник проеду в Ольховатку и расплачусь с вашим Рыбниковым!

Он незаметно подмигнул Марго, и та ответила ему благодарственным взглядом. Но он тут же сообразил что-то, и ему стало очень неприятно, почти противно: он почувствовал себя как бы сообщником Марго, как бы равным ей, и именно потому, что почти по одной и той же причине хотел, чтобы Венедяпин задержался в городе. «Ф-фу! — наморщился он. — Вот уж не ожидал: пути сошлись наши!»

— М-да! М-да! — зажевал губами Венедяпин. — Очень вам благодарен... В понедельник...

«Муж в Тверь, а жена в дверь! — чуть ли не с тошнотой подумал Дербышин, — Ах, совсем иначе все это у нас с Ниной должно быть! Совсем иначе, а не... так! И неужели моя встреча с нею должна зависеть даже от Марго?» — с отвращением скривился он.

Венедяпин с нескрываемым усилием встал с кресла и очень нетвердо прошел вглубь ложи. Там был маленький кабинетик с диваном, с двумя-тремя креслами, с маленьким столиком и с фривольными картинками на стенах. Когда задерживалась плюшевая занавеска, то кабинетик отделялся от передней части ложи и становился закрытым.

— Перейдемте сюда! — плаксиво предложил Венедяпин и, откровенно не удержавшись, почти упал на диван.

Марго грузно встала с места, пропустила вперед Дербышина и с очень деловым, понимающим видом задернула занавеску, тщательно отряхнув складки, чтобы где-нибудь не осталось щелочки.

— Может быть, шампанского сюда закажете? — своим хриловатым баском надоумила она Венедяпина: при Дербышине она стеснялась говорить ему «ты».

— А? Да, распорядись, Маргоша! — обессиленно согласился тот. — Шампанского...

Дербышин не садился, готовясь поскорее уйти, но надо было условиться, с Венедяпиным поточнее.

— Девятьсот рублей Рыбникову? — спросил он. — И у него — ваш вексель, что ли? Или расписка?

— Да, вексель... Расписка... Я что-то подписывал тогда... Это все Мирон знает, потому что он и заставил меня купить... Ландо! А оно мне, кажется, и не нужно, потому что у меня есть свое, эл...легантное! Вам Мирон все объяснит!

Он отвечал Дербышину, а сам все время смотрел на Марго и слегка вздрагивал, словно икал.

— Бабец! А? — не выдержал и подмигнул он, показывая галзами на Марго. — Есть за что подержаться!.. А? Есть ведь?

Он хлебками выпил весь бокал шампанского, но пролил себе на колени и передал бокал Марго. Дербышин сделал вид, будто отхлебнул тоже.

Венедяпин потянул к себе Марго, и та села ему на колени, открыв засаленную подвязку на толстой ноге. Сначала Венедяпин (очевидно, стесняясь Дербышина) позволял себе только обнимать Марго, а потом нелепо хихикнул и расстегнул на ней корсаж.

— Великолепный бабец! А? — еще раз подмигнул он, откровенно захлебываясь.

Его лицо совсем перестало быть собою. Оно даже перестало быть похожим на человеческое лицо, а стало одновременно похожим и на обезьяну, и на свинью. Все мускулы переставились, все черты обмякли и стали выражать только неприкрытую похоть. Особенно же похотлива, до омерзения похотлива стала его нижняя губа: отвисшая и дрожащая захлебывающейся дрожью.

И острая мысль, отвратительная мысль схватила Дербышина: ведь с этим лицом, с таким лицом Венедяпин приходит к Нине Павловне, и Нина Павловна бывает должна смотреть и видеть. Страшное возмущение охватило его, такое сильное и властное, что он готов был тут же броситься на Венедяпина и... избить его? Он встал с места, почти задыхаясь, и хотел было тотчас же выйти вон, но Венедяпин услышал его движение и повернулся к нему.

— Бабец... Бабец... — бессвязно залепетал он. — Такой бабец...

Марго, очень довольная, усмехнулась, слегка откинулась назад и поднесла ко рту Венедяпина бокал с шампанским.

— Выпей-ка!

— И она, знаете ли... — залепетал Венедяпин. — Она удивительные вещи знает и... и умеет! Я даже не ожидал... Высшая школа, так сказать, *haute école*!* Она говорит, что это ее моряки научили... в Кронштадте! Рассказать, Маргоша? — намекая на что-то очень стыдное, игриво поддразнил он. — А вот жена моя, — повернулся он к Дербышину, — она, знаете ли, совсем не такая... У нее все очень умеренно, и она...

Возмущение замутило Дербышина. Он что есть силы стиснул зубы и отвел глаза, чтобы не видеть. «Надо что-то сказать! — быстрыми вспышками думал он. — Сейчас же сказать, чтобы он не смел про Нину! Или промолчать и уйти?»

— Нина Павловна... — продолжал бормотать Венедяпин, — она... Она всегда бывает чересчур безразлична и не-за-ин-тересована! А кроме того в ней нет никакого искусства и... и желания быть искусной! А Марго... Это же — высшая школа! *Haute école*! Это... это...

— Так я в понедельник заеду в Ольховатку! — собрав свои силы, достаточно спокойно сказал Дербышин. — Мирон в курсе дела? Не беспокойтесь, я все устрою. А вы — в среду? В четверг?

— Да, в среду... В четверг...
Дербышин кивнул головой и вышел.

6

Весь остаток ночи в шантане и весь следующий день (по дороге и у себя дома) Дербышин был неотвязно наполнен одной мыслью, которая его невыразимо мучила: «Надо спасти Нину!» Он только сейчас понял, что значит для такой женщины, как Нина Павловна, быть женой такого мужа, как Григорий Григорьевич. Раньше он не думал об этом, не останавливался на определенной стороне супружеской жизни, а поэтому то, что они — муж и жена, не имело для него другого смысла, кроме обычного, примелькавшегося: «Она — жена Петра Васильевича», «Это — муж Марьи Георгиевны»... Но сейчас он мысленно вникал во всю 12-летнюю супружескую жизнь Нины Павловны и начинал понимать, что значит быть постоянно, изо дня в день, с Григорием Григорьевичем. Он (умышленно, нарочно) представлял себе даже самые интимные подробности и почти воочию видел, как Григорий Григорьевич, с отвисшей губой и помутившимися глазами, похожий и на свинью, и на обезьяну, тянется к Нине Павловне и досадует на то, что она «умеренна и не заинтересована». Он даже содрогался (буквально, т. е. телом содрогался), представляя себе отдельные штрихи, и чувствовал настоящую боль. «Что она переживала все это время! Что она до сих пор переживает!» — с отвращением возмущался он. То, что надо, обязательно надо, во что бы то ни стало надо «спасти» Нину Павловну, стало несомненным: он не думал и не рассуждал, а только горячо и искренно твердил: «Надо спасти Нину!». Он не знал, что именно надо сделать для того, чтобы «спасти», но то, что «спасти» надо, было для него непоколебимо и несомненно. Продолжать все так, как оно есть, оставлять Нину Павловну в Ольховатке с Григорием Григорьевичем, было уже невозможно, и он всем нутром не только понимал, но и ощущал, что это уже невозможно. «Надо иначе! Надо все сделать совсем иначе! — с болью думал он. — Но как? Как?»

Мучило его и другое. Там, в кафешантане, он не смел «вступить» за Нину Павловну, когда Балаханов с добродушным легкомыслием позволил себе говорить о ней лишнее, и, особенно, когда Венедяпин посмел сравнивать ее с Марго. Он знал, что если бы все было «иначе», то ни Балаханов, ни Венедяпин не осмелились бы при нем (при нем!) даже упоминать имя Нины Павловны, а оттого, что он поставил Нину Павловну в фальшивое положение, его присутствие никому ни в чем не мешало. Мысль об этом была мучительна, и она с еще большей силой требовала, чтоб стало «иначе», но... как?

— Завтра я увижусь с Ниной, и мы все обдумаем. Вместе! Вот именно: вместе. Обдумаем и решим! — попробовал успокоить он себя.

Приехав домой (в воскресенье), он тотчас же послал в Ольховатку верхового с письмом. До сих пор он ни одной записки еще не писал Нине Павловне и эту «на всякий случай» написал сдержанно, как написал бы ее «если бы ничего не было»: он боялся, что записку может кто-нибудь прочесть, хотя бы Анна Наумовна.

«Глубокоуважаемая Нина Павловна! — писал он. — В Славгороде я встретился с Григорием Григорьевичем, и он просил меня: во-первых, передать Вам, что он задержится еще на 2-3 дня в городе, а, во-вторых, произвести за него расплату с Рыбниковым, который должен приехать завтра, в понедельник. Я тоже приеду завтра часам к 12-ти и покорно прошу Вас задержать Рыбникова, если тот приедет раньше. С искренним к Вам

уважением»... Перечитал записку, поморщился, увидев три раза подряд «приехать», «приеду» и «приедет», но махнул рукой: «Не в этом сейчас дело!»

Он в волнении ходил по кабинету и все думал о том, что «надо спасти Нину». Беспокойное нетерпение охватило его: хотелось, не дожидаясь завтрашнего дня, сейчас же куда-то броситься, что-то сделать, кого-то опрокинуть (именно — опрокинуть) и немедленно «спасти».

На другой день (в понедельник с утра) неприятное чувство все еще давило его, но оно уже не было таким нестерпимым, а возмущение и негодование почти улеглись. Он с прежней силой повторял вчерашнее слово «спасти», но в самом слове прежней силы уже не было. В успокоившемся представлении начинали намечаться первоначальные контуры этого «спасти», и в них, какими бы они ни были, с несомненностью было одно: жизнь надо изменить. И в этой измененной жизни уже не могло быть места всему тому, чем он жил последние 20 лет. «А соединить разве нельзя? — пытался разобраться он. — Разве нельзя соединиться с нею, но продолжать все остальное? И земство, и Дума... Впрочем, думать мы будем вместе: обсудим и разберем!»

И, как это ни странно, вчерашняя встреча с Григорием Григорьевичем стала казаться ему несколько иной. Он по-прежнему с гадливостью морщился при мысли о том, что Григорий Григорьевич «после Марго придет к Нине», но вместе с тем он начал видеть во вчерашней встрече что-то забавное и игривое. «Кажется, я поспешил уйти! — чуть ли не с улыбкой думал он. — Следовало бы остаться и понаблюдать».

С неясными мыслями и со спутанными чувствами он поехал в Ольховатку, но уже без той решимости, которая вчера наполняла его. Даже легкое раздражение начало беспокоить его, а что именно раздражало его, он не мог понять. Скучно смотрел на белую пелену и думал о том, что все-таки нехорошо приезжать, когда Григория Григорьевича нет дома. Его смущала Анна Наумовна: «Ведь если она что-нибудь узнает, то... Нехорошо! — морщась, думал он. — Да и Макар тоже!» Он поглядывал на спину Макара и пытался угадать: что он думает о том, что «барин опять в Ольховатку поехал». И не без хитрости начал соображать: как бы дать знать Макару (да и всем!), что едет он по делу, по просьбе самого Григория Григорьевича, а совсем не к Нине Павловне.

Ты не знаешь, Макар, — как бы между прочим спросил он, — где сейчас Рыбников? В Суразове или где-нибудь в уезде?

— Семен Семенович? — уточнил Макар.

— Ну да!

Макар подумал, приподнял бровь, посучил вожжами и только тогда ответил:

— Дома, надо полагать! — сообразил он. — А, между прочим, может и по уезду ездит... Нам его дела неизвестны!

— Он сегодня в Ольховатке должен быть! — лениво продолжал Дербышин, как будто только для того, чтобы от скуки поговорить с Макаром. — У него расчет есть с Григорием Григорьевичем, а Григорий Григорьевич, понимаешь, должен по делам в Славгороде задержаться. Вот он и просил меня съездить в Ольховатку и этот самый расчет с Рыбниковым произвести.

Макар покосился из-за плеча, но ничего не сказал.

— И мы там долго задерживаться не будем! — лениво зевнул Дербышин. — Кончу вот с Рыбниковым и — назад!

«Дипломат я! — ухмыльнулся он. — Хоть бы и в театре: тон у меня преестественнейший!»

И тут же его больно уколол: «Даже и перед Макаром! — мучительно подумал он. — Даже вот в таком пустяке надо изворачиваться и хитрить... Нет, нет! Надо все переменить, надо все изменить! Надо все... иначе!»

Нина Павловна, получив вчера записку, уже ждала Дербышина. Она встретила его такая светлая и радостная, что все раздражение, которое беспокоило Дербышина по дороге, сразу улетело, и он захлебнулся умилением: не мог выпустить ее рук, а все целовал их и прижимался к ним щекой.

— Так это правда? — спросила Нина Павловна, вся сияя. — Григорий Григорьевич на самом деле просил тебя приехать? Для этого Рыбникова?

— Правда! — рассмеялся счастливым смехом Дербышин. — Самая настоящая правда!

Он не отрывался от ее рук, не выпускал их и чувствовал, как восторг наполняет его: и оттого, что он видит ее глаза, и оттого, что эти глаза сияют, и оттого, что они — одни, и оттого, что он любит ее. Он никогда не сомневался в своей любви, но сейчас его любовь была для него особенно несомненна, по волнующему несомненна.

— Ты... Ты... — не справился он ни с чувствами, ни со словами.

— Что? — вся потянулась к нему Нина Павловна.

— Ты... Я не могу сказать иначе! Помнишь? Ты — неземная!

— Я-то? — счастливо запротестовала Нина Павловна. — А я ведь самая земная, ужасно земная!

— Ты?

— Я вот вчера получила твою записку и, знаешь, что я сделала?

— Что?

Я позвала Анну Наумовну и, словно бы между прочим, все сказала ей. Вот, мол, Григорий Григорьевич просил Николая Борисовича расчет с Рыбниковым... А Рыбникова задержать, если он приедет раньше... Понимаешь, зачем я это сделала?

— Ну, конечно! — весь заулыбался Дербышин. — Я ведь Макару тоже... Не сам еду, по просьбе Григория Григорьевича еду!

— На воре шапка горит?

— Конечно, горит... И я лучше отойду от тебя: я не могу!

— Сядем вот сюда и будем паиньками.

Они сели: она — на диван, он — на кресло сбоку стола. Но по-прежнему смотрели друг на друга, только друг на друга: немного блаженно, но счастливо.

— Так не приехал еще Рыбников? — смутно поймал нужный и ненужный вопрос Дербышин.

— Нет еще!

От радости, что он видит Нину Павловну, Дербышин даже забыл все то, о чем он хотел говорить с нею: забыл и «спасти», и «иначе». А когда вспомнил, то немного поморщился, как морщатся от досады. «Это уж я после Рыбникова начну говорить! — решил он. — А то нехорошо: я начну такой важный разговор, а Рыбников приедет и перебьет!» И ему стало легче оттого, что есть правильная причина не начинать тягостный разговор.

— Хочешь, пойдем в «каюту»! — предложила Нина Павловна.

— Хочу! — обрадовался Дербышин. — Она ведь сейчас совсем другая: деревья голые, а вместо зеленой травы — снег... Очень хочу!

— Да, снег...

— И петуний нет?

— И петуний нет! — рассмеялась Нина Павловна, все еще радуясь.

Дорожки в саду были занесены снегом, который здесь зимой никогда не раскидывали. Нина Павловна, слегка приподняв юбку, старалась ступать в следы шагов Дербышина, но не попадала в них, проваливалась в снег и смеялась. Дербышин смотрел и не узнавал: какое все другое стало, совсем другое! Знакомая поломанная скамейка казалась доской, которая зачем-то лежит на снегу, а около столбика нанесло сугробик. Нет, летом здесь было лучше, веселее и ярче.

— Видишь! — тронула его за локоть Нина Павловна. — Вот и «каюта».

Летом, за разросшимися кустами и за высокой травой, «каюту» с дорожки совсем не было видно, а сейчас она обнаженно проглядывала сквозь голые ветви и прутья. И оттого, что она была видна, она перестала быть «каютой». Липа, которая стояла у ее края, казалась лишней и ненужной, а прутья сирени — скучными. Но в ненужном и в скучном была грусть.

— Ты помнишь? — шепнула Нина Павловна, слегка прижимаясь. — Ты все помнишь?

— Помню! Все! — тоже шепнул Дербышин.

Она немного сильнее прижалась к его плечу и к руке: словно поблагодарила его за то, что он помнит.

— Ия помню... — сказала она, помолчав. — Я там отдалась тебе... Ты знаешь, — живо повернулась она к нему, — я уже давно, почти с самого начала замужества думала: будет у меня любовник или нет? И я никак не могла себе представить: как это так? Как это может быть, что я допущу к себе мужчину? А теперь я не могу себе представить: как бы я могла не допустить тебя к себе? Притворяться нам всем, конечно, надо, но перед тобой я не могла притворяться... И теперь не могу! Ты помнишь, как все это было?

— Помню.

— Все помнишь?

— Все.

— Все-все-все?

— Все-все-все! — не смог не улыбнуться Дербышин.

— А я, — немного стыдясь того, что она хочет сказать, опустила глаза Нина Павловна, — я не все помню. Вот тот миг... Понимаешь? Это ты ко мне бросился или я к тебе?

Дербышин сдвинул брови: ему сразу же стало ясно, что ее вопрос очень большой для нее, значительно больше, чем те слова, какими выражен он.

— Мы оба! — слегка дрогнув голосом, ответил он.

— Да? Оба? — счастливо подняла глаза Нина Павловна. — Да, конечно же — оба! Иначе и не могло быть: оба! «Он взял ее», «она отдалась ему»... Нет, нет, нет! Ты меня не брал, и я тебе не отдавалась: мы — оба! Правда? Правда? Как это хорошо, что мы... оба!

Он без слов пожал ей пальцы. А она то взглядывала на «каюту», то смотрела на него. Стояли и молчали.

Потом пошли назад к дому. Шли медленно, и Нине Павловну при каждом шаге казалось, что она сейчас остановится. Легкий мороз не щипал, а только бодрил и радовал. И снег, пушистый и искристый, бодрил тоже. Голые ветки деревьев, мягкие сугробы, занесенные кусты и тишина не говорили ни о покое, ни о смерти, а, наоборот, поднимали дух: светло и сильно.

— Мне хорошо! — приостановилась Нина Павловна и всей грудью взяла воздуха.

— Да, хорошо! — приостановился и Дербышин. — Снег такой... Хотелось бы поваляться в нем.

Над площадкой перед домом было зимнее небо. Только в одном месте крыша над мезонином закрывала его, кругом же оно было совсем открыто, кое-где перечерченное зигзагами черных ветвей. Над самым домом со спокойной и уравновешенной яркостью светило солнце, а правее начали скапливаться облака. Они собирались в густые и плотные комки, отливали серо-лиловыми тенями, кое-где растягивались, а в другом месте сгущались. Подальше, над самым горизонтом, синела совсем темная туча, которая, казалось, никуда не шла, а только висела, низкая, тяжелая и угрюмая.

— Похоже, будет снег! — сказал Дербышин. — Когда я выезжал, барометр падал.

— Да? Падал?

Ни одной из клумб не было видно: неровная, вся в волнах, белая пелена лежала неопределенно и невыразительно. В одном месте, слегка наклонясь, торчала из снега какая-то палка. Дербышин подошел и вытащил ее: это была рукоять грабеля.

— У вас граблями снег прогребают? — рассмеялся он.

Нина Павловна посмотрела и тоже рассмеялась.

— Как это стильно для нас, эти грабли! ведь это еще осенью, наверное, кто-то бросил их и забыл. И никто потом даже не подумал убрать их и спрятать. Вот так и будут лежать в снегу до весны. Как это хорошо! Как это хорошо!

— Что хорошо?

— И грабли, и все! Я... — слегка запнулась она. — Я так не люблю этого дома, что всегда радуюсь, если вижу в нем беспорядок или глупость. И эти грабли... Нет, это очень хорошо, очень хорошо! Пусть!..

Передние облака уже дотянулись и прикрыли собой солнце. И когда оно закрылось, туча на горизонте сразу перестала быть такой темной. Но зато стало видно, какая она большая, и как вылезает она из-за горизонта: медленно и громоздко.

— А ведь и в самом деле, чего доброго, пойдет снег! — сказал Дербышин. — Чего доброго, метелица начнется.

Рыбников еще не приехал.

— Да он, поди, и не приедет! — сказала Анна Наумовна. — Уж коли с утра его нет, так, стало быть, и не будет: он ведь такой. А, впрочем... — заколебалась она. — А, впрочем, может, его что и задержало, так он попозже приедет.

Дербышин слегка нахмурился. Пока не приедет Рыбников, нельзя быть совершенно свободным, потому что нельзя же чувствовать себя свободным, зная, что тебя каждую минуту могут отвлечь. А он очень хотел, нетерпеливо хотел, быть свободным: не только внешне, но, главным образом, внутренне. Хотел, чтобы ничто не мешало тому ясному наслаждению от близости Нины Павловны, к которому так тянулся он. Но мешала озабоченность: Рыбников может приехать.

Было уже два часа. Они сидели в угловой комнате и говорили о том «ни о чем», в котором иной раз бывает больше смысла и содержания, чем в определенном и ясно очерченном. И оно, это «ни о чем», каждой своей черточкой было им близко.

— Почему вдруг стало, так темно? — поднял голову Дербышин и повернулся к окну.

За окном шел снег. Поднявшийся ветер крутил его и завывал в белые вихри, и за этими вихрями совсем не было видно тучи, которая нашла. Гулко где-то что-то загудело, и где-то хлопнули дверью. Дербышин подошел к окну. Нина Павловна подошла следом за ним и встала сзади, за его плечом.

С каждой минутой снег усиливался. Весь воздух наполнялся вихрящимися хлопьями, которые густой лавиной летели сверху и, казалось, не могли упасть на землю, потому что ветер подхватывал их наверху, а потом разметывал в стороны. Словно тысячи белых теней, бесшумных, отчаянных и диких, металась в покоренном воздухе, а сверху к ним сваливались все новые и новые белые тени, такие же безумные, такие же метущиеся. Воздух весь наполнялся ими, в воздухе становилось тесно от них, а они бросались, кружились, взметывались и бесновались. Не было ни смысла, ни формы, а был только хаос, зловещий и дикий.

— Метель! — сказал Дербышин.

— Метель! — отозвалась Нина Павловна.

Порыв ветра сильной судорогой сорвал где-то ставню и бил ею по стене. Потом другой порыв схватил полную охапку сухого и жесткого снега и изо всех сил бросил ее в окно. Стекла вздрогнули и замутились. А ветер, словно обрадовавшись новой забаве, с силой бросил в окно еще одну охапку, еще одну и еще одну... На чердаке что-то упало и покатилося с глухим грохотом. Какой-то вой не то слышался, не то вообразился в смятении белого океана, и в этом вое почудилась злая сила.

— Одна-ако! — неопределенно протянул Дербышин.

— Два-ако! — в тон ему протянула Нина Павловна и рассмеялась.

Вошла Анна Наумовна, играя в деловитость и в спокойствие.

— Обедать пора! — сказала она.

Дербышин повернулся к ней.

— Замело, Анна Наумовна! — весело заметил он, словно в том, что замело, было что-то веселое. — Что ж я теперь с Рыбниковым буду делать? Ждать мне его теперь или не ждать?

— А если, скажем, даже, что и не ждать, то вам-то ведь все равно ехать сейчас невозможно! — ответила Анна Наумовна. — Уж придется вам у нас поскучать, потому что ехать сейчас никак немыслимо. Лазаря, почитай, у самой околицы метель захватила, так и то, говорит, еле добрался.

— Макар-то где? На кухне?

— На кухне.

— Ну, что ж... Подожду! Авось, к вечеру стихнет.

Но метель не утихала, а все больше разыгрывалась, хотя, казалось, больше и быть уж не может. Стало совсем темно, и в темноте через окна ничего нельзя было видеть, но зато метель стала слышнее: прыгали и громыхали вьюшки в старых печах, завывало в трубах, громыхало на чердаке, и с сухим треском, похожим на короткое, обрывистое шипение, вздрагивали стекла, когда ветер с силой и злобой бросал в них залп снега.

— А кому-то придется заночевать в Ольховатке! — с шаловливым лукавством поддразнивала Нина Павловна.

— Да, очевидно, придется. Но...

— Но?

— Строго говоря, никакого «но» нет, но ведь ты сама говоришь, что на воре шапка горит. Если бы, предположим, «ничего не было», а случилось вот так, как есть сейчас... метель... то я безо всяких разговоров сам попросил бы разрешения переночевать. А сейчас все опасаясь да оглядываешься: а не вызовет ли это подозрений? не подумают ли, что не метель меня здесь оставила, а... другое!

— Ужасно хорошо! — засмеялась Нина Павловна. — Ужасно хорошо!

— Знаешь, что? — весело встрепенулся Дербышин. — Пойдем на кухню к Макару: пускай «опчество» прикажет мне остаться.

— Идем! — обрадовалась Нина Павловна.

В кухне было тепло,людно и оживленно: собирались толково поужинать. Пахло чем-то вкусным, на плите что-то жарилось, а в духовке прело и всхлипывало. Большие граненые рюмки были уже приготовлены и обещающе стояли на столе. И то, что за окнами выла и бесновалась метель, делало всю компанию, тепло кухни и готовящейся ужин таким особенным, что хотелось крикнуть от удовольствия: «Эк, как хорошо!»

Анна Наумовна всегда любила выпить чего-нибудь «сладенького», а Степан Илларионович приучил ее и к коньяку, и к водке, которую она называла «водочкой». И когда случалось, она не отказывала себе в лишней рюмке и выпивала с удовольствием. И сейчас не без приятности готовилась: «Ух, и выпью ж я... Под метель-то!»

— Что ж мы, Макар, будем делать? — спросил Дербышин. — Метет!

Макар поднялся из-за стола и хитро улыбнулся: будто он и знает, что надо делать, но не скажет, а нарочно поставит Николая Борисовича в затруднительное положение.

— Что прикажете! — тонко ответил он.

— Как — что прикажу? Не прикажу, а домой ехать надо. Доедем?

— Отчего ж не доехать? — повел широкими плечами Макар. — Кони у нас добрые.

— А здорово метет?..

— В поле-то? У-у, так метет, что и сообразить ничего нельзя.

— С дороги не собьемся?

— Не должны бы сбиться, а, между прочим, очень даже легко!

— Так что ж его делать? Оставаться?

Макару ни за что не хотелось ехать и, наоборот, всеми силами хотелось остаться за ужином в приятной компании, но он побоялся уронить свое кучерское достоинство и захорохорился.

— Зачем оставаться? Нам с вами не впервой!

Но тут энергично вмешалась Анна Наумовна.

— И совсем это вы напрасно говорите, Николай Борисович! — властно решила она. — Разве ж возможно сейчас полем ехать? Добро бы еще лесом, а то воде — все по полю, все по полю! Как вы себе там хотите, а придется вам у нас заночевать.

— Что ты, Макар, скажешь?

— Как прикажете! — все так же тонко уклонился Макар.

Со всех сторон Анну Наумовну поддержали: ехать никак невозможно. Особенно пугал Лазарь, которого метель застала в дороге.

— Так это ж еще с самого початку было да и днем! — размахивал он руками и выпучивал глаза. — И то — совсем невозможно! Как оно, значит, все закрутило- да завертело, так в тую ж минуту и ничего не видать стало. Тут мне, хорошо знаю, одна только верста до деревни осталась, а я ничего понять не могу: туда я еду или ненароком назад повернул? Не приведи Бог!

— Постелю я вам в читальне, — безапелляционно решила Анна Наумовна, — и переночуете, как при покойном Степане Илларионовиче переночевывали, вот и все! Подушек, что ли, у нас не хватит?

— Так останемся, Макар, а?

— Как прикажете!

В это время сильный удар ветра стукнул не только в окна, но и во всю стену. Показалось, будто она дрогнула. И тотчас же что-то зловеще завывало на чердаке.

7

— Вот видите! — словно торжествуя, повела рукой Анна Наумовна. — Разве ж можно сейчас ехать!..

«Читальня» в ольховатском доме была необыкновенная. Покойный Степан Илларионович называл ее «глупой», Дербышин — «занятой», Нина Павловна — «несуразной», а Григорий Григорьевич никак ее не называл, но относился к ней с почтением и читать газеты уходил всегда в «читальню»: он убежденно полагал, что читать в какой-нибудь другой комнате никак не соответствует его достоинству. Устроена читальня была давно, еще в александровские времена, но с тех пор постарела и облиняла.

Вдоль трех стен (двух боковых и передней с окнами) шли полки до самого потолка, а четвертая стена, (в которой была входная дверь) была вся завешена старыми портретами. Когда-то на полках было очень много книг, но в последние 20-30 лет ими никто не интересовался, они куда-то исчезли, а новыми не пополнялись. Поэтому на полках было много свободных мест, книги не стояли, а падали, и вид у полок был неприветливый, мертвый. И воздух в комнате был подстать этим полкам: застоявшийся, кислый и пропитанный книжной пылью.

Вдоль полок, аршинах в двух от них, шел очень широкий диван в виде громадной буквы «П»: мягкий, с высокой спинкой, обращенной к полкам. Он был сделан крепостными мастерами специально для этой читальни и получалось, будто между полками и диванами идет неширокий коридор. А внутри этой буквы «П», посреди комнаты, стоял монументальный стол, со всех сторон обставленный такими глубокими креслами, что нельзя было понять: сидеть или лежать надо на них?

— Очевидно, люди считали, что читать можно только лежа или развалившись! — подсмеивался Дербышин, — Они, вероятно, считали, что чтение — это самая сладкая часть *far niente**, ленивый кейф и больше ничего!

Старые портреты потемнели, и уже трудно было различать на них пудренные парики, александровские мундиры и старомодные фраки. Ниже портретов висели фотографии, выцветшие и побледневшие: семейные группы, коллекции чиновничьих лиц, два архиерея. «Смело гребите во имя прекрасного против течения!» — узором вилось на большой группе с вырезанными в овалах лицами институток в белых передничках.

— Эхе-хе-хе! — вздыхал иногда Дербышин, рассматривая эти лица. — Повыходили эти институтки замуж, понарожали детей, сделались помещицами или провинциальными

дамами... Украдкой изменяли мужьям, играли в стуколку**, безобразно полнели и сплетничали... Вот тебе и — «против течения»!

Варька, нагруженная периной, подушками и одеялом, несмело вошла в комнату.

— Меня Анна Наумовна... постелить...

— А Анна Наумовна где ж? — повернулась к ней Нина Павловна.

— Она меня... послала...

Дербышин посмотрел понимающе.

— Значит, мы сегодня Анну Наумовну уж не увидим! — констатировал он. — Она «ошиблась»... Ты там на диване в уголку постели, Варюша, чтобы подушка в спинку упиралась. Понимаешь?

— Понимаю! — вздохнула Варька и пошла в читальню.

— Это хорошо, что Анна Наумовна сегодня «ошиблась»! — сообразил Дербышин. — Я, признаться сказать, подглядываний и подслушиваний Анны Наумовны очень опасаясь... Уж такая она! Ты придешь ко мне? — понизил он голос.

Нина Павловна густо покраснела.

— Но не сейчас... Попозже! — справилась она с собой.

— Сейчас уже одиннадцать.

— Я... через час! А ты сейчас иди, милый. И я тоже к себе пойду. ведь еще не спят, кажется!..

Дербышин прошел в читальню и зажег свечу. Сел на диван и сидел спокойно, без мыслей. Пламя свечи вздрагивало и колебалось, и казалось, будто оно вздрагивает оттого, что через окна и стены вырываются порывы метели. Он подошел к окну и попытался хоть что-нибудь рассмотреть, но не было видно ничего: черная тьма, а в ней вьется и мечется что-то смутное и громадное. Он вернулся на диван.

«Строго говоря, кроме развода ничего не придумаешь! — начал соображать он. — Но получить развод будет трудно и даже, вероятно, невозможно. Ведь Григорий Григорьевич вину на себя не примет, а уличить его, конечно, не удастся. Удивительные у нас законы все-таки!*** — вздохнул он. — Прямо- таки какое-то средневековые! Конечно, — продолжал он соображать дальше, — можно им и не разводиться, а просто разъехаться, но... Впрочем, это пусть будет так, как Нина сама захочет. А потом что?» — строго спросил он себя, заранее враждебный к этому «потом».

Оно было неясно. Неопределенно мерещилось только то, что они, т. е. он и Нина Павловна, будут вместе, но что это могло означать практически, он себе не представлял. «Вероятно, надо будет уехать за границу, чтобы скрыться от всех!» — думал он и тут же пугался: отъезд за границу означал, что он «бросит все». «Но как же его бросить? — широко раскрывал он глаза. — Разве я имею право все бросить?» — спрашивал он себя и тут же решал, что этого права он не имеет. И в этих своих рассуждениях он был так же искренен, как и в своих чувствах.

«Это, конечно, очень старая дилемма: личное счастье и общественный долг! — пытался он разобраться. — Но ведь оттого, что она старая, она не стала разрешенной». Он не делал ни сравнения, ни оценки, но, даже не делая их, внутренним своим существом понимал, что бросить земство, оставить общественную работу и отказаться от депутатства в Думе он никак не может. «Это же не поцелуйчики — (он подумал именно этим словом) — это же участие в эпохе!» Он вспоминал глухие времена, «бессмысленные мечтания» и

свою тогдашнюю веру в приход «новой жизни». И вот она, эта новая жизнь, пришла, стоит на пороге и начинает принимать реальной формы. «И как раз теперь бросить все это? Да разве же это не дезертирство? А кроме того я ведь не могу не понимать, что работа на благо народа — ценность, а влюбленные ахи — мираж. Год, два... И ахать, пожалуй, не захочется».

Он не замечал, что даже в мыслях у него был двойной лексикон: немного ходульный и декламационный для одной части рассуждений («участие в эпохе», «благо народа») и иронически небрежный для другой части («поцелуйчики», «влюбленные ахи»). Очевидно, эта двойственность лексикона была нужна ему или как-то помогала ему.

Нина Павловна вошла совсем бесшумно: он не заметил, как она вошла, и не успел встать ей навстречу. Она села рядом с ним на диван и с минуту посидела молча, прислушиваясь и телом, и душой к его близости. А потом тихо спросила:

— О чем это серьезно ты хотел поговорить со мной?

Дербышин ответил не сразу: ему не хотелось начинать тяжелый разговор, а кроме того он не знал, с чего надо начинать. Так хорошо было бы не говорить ни о чем неприятном и ответственном, а остаться с нею вдвоем без тревожных дум, без тягостных вопросов и без поисков выхода. Сидеть бы вот так, ласково обнимать ее, чувствовать ее присутствие и наполняться ее любовью.

— Тебя очень тяготит Григорий Григорьевич? — осторожно спросил он.

В комнате было почти совсем темно, но Нина Павловна покраснела и наклонила голову: она сразу поняла, о каком именно «тяготит» говорит он.

— Зачем ты спрашиваешь об этом? — попробовала она уклониться.

Дербышин понимал, что он не имеет права рассказывать ей о встрече в кафешантане. Он слегка замялся, притворяясь, будто обдумывает.

— Ты прости, что я заговорил об этом! — мягко-мягко сказал он и взял ее за руку. — Это, конечно, очень интимная сторона, и даже я не имею права касаться ее, но... но и обминуть ее тоже нельзя. Ты не подумай, будто я ревную! — вдруг сообразил он. — Тут дело совсем не в ревности, потому что дело не во мне. Себе я делаю решительный отвод! Дело только в тебе, только в одной тебе!

Она прикоснулась щекой к его плечу: это была ее благодарность.

— Если ты можешь, чтобы все продолжалось так, как оно есть, то пусть оно продолжается: одна ты имеешь право голоса. Но если ты... Если тебе невыносимо... или хотя бы противно... Ты понимаешь? Тогда это надо изменить. И вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой.

— А ты? — быстро спросила она и, подняв голову, глянула ему в глаза.

— Что — я?

— А ты? Ты бы хотел все изменить? Или ты хотел бы, чтобы все оставалось так, как есть?

— Повторяю: дело не во мне! — скорее сдержанно, чем мягко ответил Дербышин. — Я не имею права голоса. Дело только в тебе.

— А ты? Ну, хорошо: права голоса ты не имеешь. Но ведь имеешь же ты право желаний... Чего ты хочешь?

Дербышин услышал ее вопрос, но (по задумчивости? по невнимательности?) он только понял его, но ничуть не почувствовал. И поэтому ничего не ответил.

— А как же можно изменить? — неуверенно спросила Нина Павловна.

Что-то немного робкое почувствовалось в тоне ее голоса, и эта робость прикоснулась к сердцу Дербышина: ему стало жаль ее, а вместе с жалостью сердце охватило нежностью.

— Это можно сделать по разному! — очень живо начал было он, но сразу же осекся: ему никак не хотелось сейчас обсуждать «технику и практику вопроса». — Но дело не в том, как изменить, — вильнул он в сторону, — а дело в том — надо ли изменять? То-есть, тебе надо ли? — спохватился он, услышав в просто «надо ли» что-то непозволительно расчетливое. — Ведь вопрос надо решать сначала душой, а потом уж разумом! — еще больше стушевал он свое резкое «надо ли».

— Душой? Да, конечно, душой... Но разве моя душа не в тебе? И разве в моей душе нет тебя? А ты говоришь, что ты себе даешь отвод.

— Пойми: я не хочу влиять своим желанием на твое желание. Я хочу, чтобы ты была совершенно свободна!

— Сво-бод-на! — по слогам повторила это слово Нина Павловна, словно вдумывалась в каждый слог. — Но разве я могу быть свободна без тебя?

— Если «свободна», то, значит, без меня! Ты пойми...

— Не сердись! — ласково попросила она, хотя он ничуть не сердился. — Но я ведь глупая. Свободна? Я не знаю, что такое свобода, но мне кажется, что если человек свободен, то он должен иметь и право, и возможность продать себя в рабство. А если ему говорят, что он этого права не имеет, что он должен, обязан быть свободным, то... какая же это свобода? Значит, он не свободен! Вот так и я... Если я свободна, то я хочу думать и решать с тобой, а если я должна решать одна — (она подчеркнула слово «должна») — то, значит, я не свободна.

— Ты очень странно ставишь вопрос...

— Подожди! Но ведь есть и другое! Ну, хорошо: я! А ты? Ведь если я что-нибудь решу для себя, то этим я решу и для тебя. А ведь у тебя есть твоя жизнь, нужная другим. Очень нужная! Что ж? И ее тоже решить должна я? А разве я имею право? нет, я... тоже — отвод! — улыбнулась она.

«Ба-ба-бах! Бах! Гу-у-у!» — раздалось откуда-то сверху, и показалось, будто на чердаке несколько босых ног сильно и громко протопотало, пробежав странно и сбивчиво. А потом потянул непонятный вой: «Гу-у-у!»

— Что это? — вздрогнула и выпрямилась Нина Павловна. — Метель.

— Ах, да! Там ведь — метель! — вспомнила она и чуть-чуть (совсем чуть-чуть) придвинулась к нему. — А мы... тут! тихо, но очень глубоким голосом добавила она.

И то, как она сказала это ничего не значущее и, казалось бы, очевидное слово, наполнило Дербышина несказанным теплом: дорогим, близким и единственно нужным. То, что на дворе — метель, а они — тут, стало самым главным, самым ценным и самым решающим, перед которым пропадало и уничтожалось все остальное, потому что оно потеряло и цену, и значение. Цена и значение были только в одном: на дворе — метель, а они — тут.

И он, не думая ни о чем, не решая ничего, сказал с такой простотой и с такой уверенностью, как будто иначе и быть не может:

— Тебе нельзя оставаться с мужем. Мы бросим все это и уедем за границу.

Нина Павловна услышала эти слова, но не поверила: не словам не поверила, а самой себе. То ли она слышит, что он говорит? И страшная радость охватила ее.

— Да? Да? Да? Ты этого хочешь? И этого хочешь ты сам?

Радость, близкая к счастью, была не в том, что они «бросят все и уедут», а в том, что он этого хочет, и в том, что этого хочет он. И вместе с радостью бескрайняя и безмерная благодарность наполнила ее. Она заметалась, не зная, как выразить эту радость и эту благодарность.

— Ты знаешь... Ты знаешь... — залепетала она, торопясь и задыхаясь. — Ты знаешь... Нет, ты этого не можешь знать, потому что... Ведь я люблю тебя, ведь я же люблю, люблю тебя... И ты... Ах!

Она бессвязно лепетала, всматривалась ему в глаза, хватала его за руки, и в полутьме комнаты Дербышин видел, как она сияет таким сиянием, о котором он раньше ничего не знал. И ему до слез, до боли захотелось укрыть Нину Павловну от метели, которая мечется за окном: укрыть у себя на груди, в своих руках... Всем своим существом, разумом и сердцем он сознавал, что эта женщина — самое любимое и самое дорогое для него, и что ничего другого любимого и дорогого для него нет и быть не может.

— Я все сделаю! Я все сделаю! — горячо уверял он, плохо понимая, в чем уверяет он, и что надо сделать. — С паспортом, вероятно, будет трудно, потому что без Григория Григорьевича... Ведь наши законы... Но я поговорю с Поспеевым, и он... Может быть, будет задержка, но я все сделаю! Я все сделаю!

Он целовал ее руки, вглядывался ей в глаза и верил, что он все сделает, и что они очень скоро, через два-три месяца уедут.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

С.60. **Редигер** Александр Федорович (1854-1920) – генерал от инфантерии, военный министр Российской империи с 1905 по 1909гг. Провел ряд преобразований. При нем были учреждены: Совет государственной обороны, Высшая аттестационная комиссия и независимые от военного министра должности генерал-инспекторов пехоты, кавалерии, инженерных войск, военно-учебных заведений. Кроме того, были сокращены сроки военной службы: в пехоте – до 3 лет, в кавалерии – до 4 лет, во флоте – до 5 лет, что позволило создать стратегический резерв армии.

С.60. **Сухомлинов** Владимир Александрович (1848-1926) генерал-адъютант, военный министр Российской империи с 1909 по 1915гг. В ходе расследования его деятельности на посту военного министра вскрылись факты коррупции, халатности, откровенного предательства в его ведомстве. Во многом это связывали с его женой Е.В. Бутович, развод которой в свое время вызвал шумный скандал в обществе. Ее привлекли к суду в качестве соучастницы, но в итоге все обвинения были сняты. Сам же генерал был заключен в Петропавловскую крепость. При Временном правительстве осужден на бессрочную каторгу и лишение всех прав состояния. Каторгу заменили на тюремное заключение. В мае 1918 года большевистское правительство освободило Сухомлинова по амнистии в связи с возрастом. Экс-министру было 70 лет. Эмигрировал.

С.60. **vanitas vanitatum** (лат.) – суета сует.

С.61. **«кадетов»** – конституционно-демократическая партия в Российской империи. Организована 25 октября 1905 г. в Москве. Кадеты выступали за парламентарный строй, основанный на всеобщем и равном избирательном праве с тайной и прямой подачей голосов; за широкое развитие демократического местного самоуправления; за независимый суд; за увеличение площади крестьянского землевладения государственными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, а также путём выкупа частновладельческих земель по справедливой (не рыночной) оценке; за свободу рабочих союзов и стачек; за развитие фабричного законодательства и 8-часовой рабочий день; за всеобщее бесплатное и обязательное начальное образование; полную автономию Финляндии и Польши. Лидеры – П. Н. Милюков, В. Д. Набоков и др. Общая численность партии кадетов в 1906-1907 гг. колебалась в пределах 50-60 тыс. человек.

С.64. **dernier cri** (с франц.) – последний крик моды.

С.69. **Октябристы и мирнообновленцы** – октябристы (Союз 17 октября) политическая партия в Российской империи. Организована после издания Манифеста 17 октября 1905, декларировала своей целью реализацию провозглашённых в Манифесте реформ и превращение страны в конституционную монархию. Представляла собой правый фланг российского либерализма. Лидеры – Д. Н. Шипов, А. И. Гучков. Мирнообновленцы (Партия мирного обновления) – конституционная монархическая партия. Создана в июле 1906 бывшими левыми октябристами (П. А. Гейден, Д. Н. Шипов и др.) и бывшими правыми кадетами (Н. Н. Львов, Е. Н. Трубецкой и др.). Партия занимали промежуточное положение между октябристами и кадетами, отличаясь от них главным образом особенностями своей тактики. Программа партии предусматривала проведение буржуазно-демократических реформ, законодательное «урегулирование» рабочего вопроса, сохранение помещичьего землевладения, переселение безземельных крестьян в окраинные районы с выкупом части помещичьих земель и расширением малоземельных наделов за счёт государства.

С.69. **bel hommle’y** (франц.) – красивый мужчина.

С.71. **Couleur locale** (франц.) – местный колорит.

С.74. **эспри** – украшение в виде большого пера или расходящегося пучка больших перьев, которое прикалывается к женской причёске или к женскому головному убору.

С.74. **Это уж не «полюбив четыре пуда нежно-девичьего мяса»** – цитата из стихотворения Саши Черного «Чудо».

С.75. **Пур пассе ле тан** (от франц.) – провести время.

С.76. **Ноблесс оближ** (от франц.) – положение обязывает.

С.77. **haute ecole!** (англ.) – выездка лошадей.

С.86. **far niente** (итал.) – от скуки.

С. 86. **...играли в стуколку** – название карточной игры.

С.86. Строго говоря, кроме развода ничего не придумаешь! ... будет трудно и даже, вероятно, невозможно. Ведь Григорий Григорьевич вину на себя не примет, а уличить его, конечно, не удастся. Удивительные у нас законы все-таки! – для православных верующих духовные власти обладали независимой судебной компетенцией в делах, связанных с разводом и браком. На епархиальном уровне духовными властями были консистории и епархиальные архиереи, на общецерковном – Святейший синод. Реально развод давался только по прелюбодеянию. Желаясь развестись подавали заявление в консисторию, которая присылала им священника для увещания. Когда увещание не срабатывало, начинались слушания. Развод обходился в 3-5 тысяч рублей – то есть в три годовых жалованья рядового врача или гимназического учителя.

(Продолжение следует)

Литературная критика

Беспокойное сердце

Жизнь человека – это духовный путь постижения себя и мироздания в прошлом, настоящем и будущем. Мы приходим в мир для того, чтобы стать *точкой соприкосновения* всего бывшего, происходящего и того, что должно еще свершиться.

Судьба Игоря Ростиславовича Ильина – судьба человека, большая часть жизни которого прошла в 20 веке, быть может, самом трагичном в истории человечества. Он был свидетелем великих свершений и достижений, участником Великой Отечественной войны,

самой кровавой и беспощадной, вся правда о которой еще до конца не сказана. Сын своей эпохи, эпохи веры в общечеловеческие ценности и разочарования в них, он остался сыном могучей державы – Советского Союза, мучительно переживающим ее развал. Оттого так горько и больно ему осознавать все происходящее вокруг нас сейчас. Но он не скрывает свое творческое и гражданское «Я» в «изысканных» метафорах и никому не понятных эпитетах. Его поэтическое слово ярко, образно, зримо, оно всегда конкретно и потому привлекает читателя своей искренностью. О чем бы ни писал Ильин, он всегда добивается предельной объективности, лаконичности, выразительности. За кажущейся простотой его поэтических образов, порой будто сошедших с плакатов, кроется многогранность мысли, правда, выстраданная душой. Поэту ничто не чуждо, он в гуще событий наших дней, но при этом бережно хранит память о былом и размышляет о будущем. Все пережитое осмыслено им, выкристаллизовывается в единственном, верно найденном слове, чтобы благодаря ему достучаться до сердца читателя и дать ему возможность задуматься над тем, ради чего мы живем на Земле.

Казалось бы, о Великой Отечественной войне написано и сказано много. И все-таки она у каждого своя, и, пока жив хоть один человек, прошедший ее, вновь и вновь мы будем слышать новую, ничем не прикрытую, ту, единственную, свою правду о ней. Для кого-то война вмещается в обычные схемы патриотизма, лозунговые изречения о жертвенности во имя Родины – все это так, но было и другое: за патриотизмом, самопожертвованием стояли будни войны, наполненные пороховой гарью, свистом пуль, к которому привыкаешь, и обыденностью смерти, которая страшит, ужасает и надолго остается в памяти. В одном из своих лучших стихотворений «Половина солдата» Ильин выразил это чувство неприятия смерти, противоестественности ее бытию человека. Страшно видеть изуродованность, извращенность жизни войной. Половина солдата – зловещий символ войны.

Задержаться не можем, хоть сердце щемит.

Ниже пояса нету совсем ничего....

Мать с отцом никогда не дождутся его.

Половина солдата на трассе лежит...

Кем он был, женихом или юным отцом?

Суть не в этом, он Родины-матери сын.

Хоть давно дожил я до почтенных седи,

Часто вижу его молодое лицо.

Война... Она возвращает тех, кто ее пережил, к разгадке того, что она несла в себе. Голос войны остался в воспоминаниях, фронтовых письмах, которые, быть может, как последние слова, доходили до любимых и родных.

Незатейливые письма фронтовые...

Их матери, невесты ждали.

Узнают, что любимые их живы,

И места нет для горечи, печали.

(«Письма фронтовые»)

В этих простых, незамысловатых строках правда войны Ильина. Он, фронтовик и поэт, всегда чувствует, что пока не похоронен последний солдат войны, она не закончена. Она еще зовет и напоминает о себе...

Пройдут десятки лет, и в пантеон уложат

Последнего ушедшего из жизни.

Пусть прах солдата никогда не потревожат,

Всю жизнь свою он посвятил Отчизне.

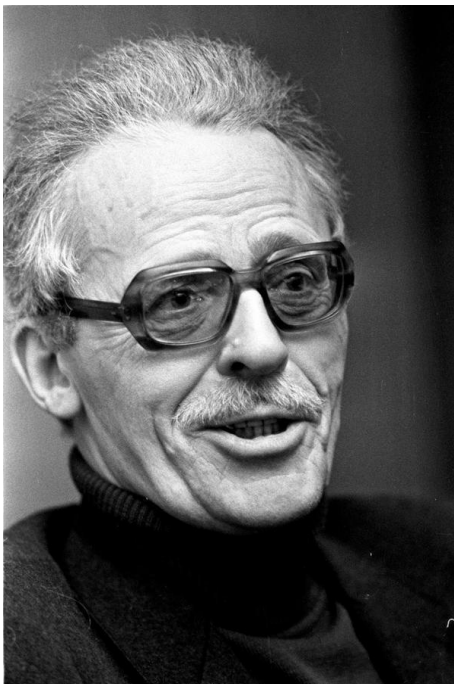
(«Почет»)

Игорь Ростиславович Ильин – один из немногих участников Великой Отечественной, кто дожил до наших дней и служит Отчизне в меру своих сил и таланта. Его цикл очерков «Дороги фронтовые» – своеобразная летопись боевого пути полка «Нормандия-Неман», ясное тому подтверждение. В очерках рассказывается о советско-французском братстве в годы Великой Отечественной войны и о событиях послевоенных лет, связанных с полком «Нормандия-Неман». Автор сквозь призму своих воспоминаний воссоздает облик целого поколения, опаленного войной. При этом героическое начало проявляется у него не только в ярких картинах боя, но и в неприметных деталях поведения людей в боевой обстановке, когда будничность событий, обыденность жизни и смерти как бы снимают с героики исключительность, но до предела обнажают духовную сущность человека. Очерки разноплановы по своему содержанию и стилистике. В первую очередь выделяются очерки исторического плана: «Рождение Нормандии», «Боевой путь», «Командиры Нормандии». Для данного типа очерков характерны: точность в описании, предельная объективность, конкретные детали.

Некоторые очерки по своему жанру более близки к рассказу, они насыщены художественными описаниями, субъективной оценкой автора с присущей эмоциональностью и выразительностью. Таковы очерки «Братская дружба», «Три мушкетера», «Барон Франсуа де Жоффри». Нужно отметить, что для данного цикла очерков характерен достаточно высокий уровень психологизма, когда «Я» автора раскрывается через изображение внутреннего мира героя. В целом «Дороги фронтовые» представляют собой ценность не только как своеобразное историческое повествование о Великой Отечественной войне, но и как значительное литературное явление в культурной жизни Приднестровья на рубеже 20-21 веков.

Ю. Заяц

К 100-летию со Дня рождения Бориса Васильева



Это страшное слово – Война!

Война! Как много вмещает в себя это слово. Страх перед смертью, перед тем, что противоестественно человеческому бытию, самой сущности Человека, как творения Божьего. Горе... От сознания невосполнимости потерь, боль, неутешная, на грани отчаяния, когда душа не желает мириться с горечью утрат. Ненависть, упоение злобой к врагам, торжество, радость победителей со слезами на глазах, обреченность на гибель побежденных, уповающих на милосердие. Проявление всего того, что ставит человека на грань саморазрушения, ибо насилие по отношению друг к другу никогда никого не делало лучше. В этом смысле справедливых войн не бывает. Потому что человек рлождается ради любви и должен жить с любовью ко всему сущему.

Война... Испытание на прочность в человеке человеческого, когда понятие чести и долга перед Отечеством, любовь к Родине не заслоняют любовь к человечеству, а возвышают, преображают в нас Человека. Тогда война становится Отечественной, во имя торжества Духа, величия жизни на Земле, тогда она священна, и ярость тогда благородна ко всему, что бесчеловечно. Русские писатели и поэты именно так и оценивали Великую Отечественную войну. Те, кто ее пережил, кто познал горечь потерь, кто сумел сохранить в себе, несмотря ни на что Человека, остались в нашей памяти и надолго будут оставаться нравственными ориентирами в жизни.

Поколение, прошедшее войну, запечатлело ее в слове. Писатели-фронтовики.. У каждого из них своя правда о войне. Но никто из них еще, кажется, не признался, что воевал с мыслью: «Доживу до Победы – стану писателем». Будущее прояснилось позднее, окопные и госпитальные мысли – все или не все – кристаллизовались у каждого из них по-разному, по-разному воплощались в повестях, рассказах, романах.

Борис Васильев – один из тех, о ком Борис Слуцкий, поэт-фронтовик, напишет:

Бывает, молния сверкнет,

перечеркнет квадрат оконный,
и гром, как взрыв мильонотонный,
войну и молодость вернет.

Молодость писателя пришлась на войну, он испытал свою солдатскую долю до конца, теряя боевых товарищей, однокашников, земляков, не раз глядел смерти в глаза. Все это наделило его особенным чувством трагического, которое неразрывно связано с героическим, оттого что он принадлежал к тому поколению, о котором один из героев повести «Завтра была война» скажет: «Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям...» (Борис Васильев. Избранное: В 2т. Т.1. М.: Худ. лит., 1988. С.13. – в дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию).).



У каждого из героев повести он был, этот свой личный подвиг – преодоление в себе мелочного, пошлого во имя справедливости. Искра Полякова, директор школы Николай Григорьевич, Вика Люберецкая – все они не предали своих идеалов, не отреклись от жизненных принципов, остались верны себе.

Героев Бориса Васильева трудно представить вне жажды подвига, как служения Отечеству, как проявления солдатского долга. Лейтенант Николай Плужников из повести «В списках не значился» – это тот тип героя Бориса Васильева, который выделяется тем пониманием чести и долга, рожденным на войне, когда в человеке торжествует сила духа и доблесть Гражданина, служащего Отечеству. «Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И он шел, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги... он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти». (С.340)

Человек тогда попирает смерть, когда торжествуют в нем совесть, честь, долг над страхом, над жаждой жизни для себя. Герои Бориса Васильева попирают смерть во имя величия жизни как подвига, во имя любви к Отечеству, когда долг, честь, доблесть не просто красивые слова, а тот внутренний стержень, та основа, благодаря которой они живут. Это те качества, которыми издавна определялся русский солдат как воин, которому отдают почести даже враги. «Почти год сражался этот человек, год боев неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат». Тот русский солдат, о котором поэт-фронтовик Владимир Орлов напишет: «Его зарыли в шар земной».

Война настолько обнажает душу человека, что все то, что было привычным в обычной жизни, становится любимым, милым, неповторимым, дорогим – и начинаешь верить, что нет ничего прекрасней первозданности мира в каждом мгновении его бытия, которое вдруг нарушается войной. В этом плане Борис Васильев – прозаик трагического мировосприятия. Эту особенность его таланта отмечали многие литературные критики и коллеги по перу. В частности, поэт Андрей Дементьев, оценивая творчество писателя, заметил: «Борис Васильев – художник трагического склада, он выбирает ситуации экстремальные, порой жестокие, пишет страдания людей сквозь собственную боль, омывая невидимыми нам слезами гибель близких людей, которые становятся для нас столь же родными...» (С.4). Родными настолько, что мы не верим в их смерть, не принимаем ее, будь она нелепой или героической. Для нас это становится личной драмой. Но мы понимаем, что если кто-то гибнет, то его смерть пробуждает к жизни, к творению добра и защите красоты. У каждой из героинь повести «А зори здесь тихие», Лизы Бричкиной, Жени Камельковой, Риты Устинович, воплощена авторская мысль о непримиримости со смертью, о торжестве любви к жизни, о величии подвига – преодоление в себе всего суетного и эгоистичного. Не случайно повесть заканчивается словами «Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу – она за речкой в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и – не решился. А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня я разглядел». (С.444)

В простоте описания послевоенного быта кроется зов души, вечная память по всем павшим. А зори здесь тихие... Разве не в них кроется умиротворение души, ее покоя, торжество жизни в ее созерцательности к самой себе и противопоставленности войне, хаосу, разрушению. В них, в тихих зорях, и правда жизни для героев Васильева, и горькая, страшная правда о войне, зов души, переживший ее, в котором не только память, но и чувство вины, смешанное с горечью потерь. Тот вечный зов, вне которого трудно жить, трудно быть.

Он возвращает нас, родившихся и живущих после войны, к мысли о том, можно ли все забыть, если нельзя, то почему забываем, почему не верим в величие подвига? Эти вопросы волновали и Бориса Васильева. Героиня повести «Неопалимая купина» Антонина Иванышина с горечью рассуждает: «Почему? – спрашивала она себя и тут же отвечала: – а потому, что перекормили. Количество героической информации вдруг перешло в качество – только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчезла искренность подвига, его порыв, боль, цена – и осталось голое перечисление. Остался реестр, длинный

и нудный списочный перечень: «кто, что, где и когда». Мы девальвируем собственную героическую историю: Герасим утопил собачку, и полтора года лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы без конца толкуем о двадцати миллионах погибших – и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать, иначе за перо браться не стоит...» (С.540).

Борис Васильев писал так, что мы не можем остаться равнодушными. Его герои зовут нас к размышлению о себе, о значимости жизни, о величии Человека, о том, что есть смерть в самом ее неприглядном виде, о преодолении себя, когда нужно, необходимо отречься от суетного, обыденного, пошлого во имя красоты и полноты жизни, во имя того, чтобы сохранить в себе Любовь и не расчеловечиться. Да, правда жизни у Васильева жестока. Но если ее не сказать, если не описать ее жизнь такой, какой она есть, то тогда как пробудить к добру, как достучаться до онемевших душ, как заставить задуматься над тем, что все мы люди и что все в ответе за все то, что было, что есть и что будет.

Ю. Заяц



Пётр Петрович Вершигора

Более 20 лет я жила по улице Вершигоры. И очень гордилась этим, ведь писатель, именем которого названа улица, очень неординарная личность. Пётр Петрович Вершигора – активный участник партизанского движения в годы Великой Отечественной

войны, командир Первой Украинской партизанской дивизии имени Ковпака, Герой Советского Союза.

Увидев портрет Вершигоры, вы его уже никогда не забудете. Не сила – мощь! Решительность и непримиримость, целеустремлённость и напор! Не удивительно, что он возглавил партизанское движение – люди в него верили, люди за ним шли.

Пётр Петрович Вершигора родился в мае 1905 года в селе Севериновка Каменского района. Сейчас там музей этого легендарного командира партизан, замечательного писателя, талантливого кинорежиссёра и фотографа.

Рано потеряв родителей, он с двенадцати лет был пастухом, затем работал на мельнице. Но такой расклад жизни парнишку не устраивал, и пятнадцатилетним подростком ушёл он из родного села в Рыбницу, где поступил в агрономическую школу. Маленький город с большой историей помнит своих героев и гордится ними. А Пётр Вершигора – выдающаяся личность!

Талантливый человек – талантлив во всём. Вот таким талантищем и был Пётр Петрович – режиссёр, фотокорреспондент, разведчик, партизан, генерал, писатель. Пётр Вершигора – человек со стойкой гражданской позицией и с чистой совестью, правдолюб, человек, который при жизни стал легендой, а его книга партизанских воспоминаний издавалась огромными тиражами на 30 языках мира.

До Великой Отечественной войны, Пётр Петрович и не предполагал, что впереди его ждёт героическая воинская слава. Но, видно, чувствовал – в 1925 году ушёл добровольцем в Красную Армию. До этого он уже и в драмкружке верховодил, и избой-читальней заведовал, и в духовом оркестре был не «последней скрипкой», а барабанщиком и трубачом. Позже были институт имени Бетховена, Донецкий и Ижевский театры рабочей молодёжи, Кино-академия в Москве и киностудия в Киеве.

Очень целеустремлённая личность, Пётр Вершигора уже в 1935 году преподавал на молдавском факультете Одесского театрального училища! А в 1938 году вышел первый документальный фильм «Советская Молдавия», снятый на Киевской киностудии режиссером Г. Гричером по сценарию П. Вершигоры и А. Мартынова. Уроженец Молдавии писатель Петр Вершигора был и сорежиссером Г. Гричера в этом фильме.

Вряд ли Пётр Петрович в то время мечтал о генеральских погонах. Его увлекали кинематограф и литература. Буквально, накануне войны были опубликованы поэма «Чеколтан», рассказы, пьеса «Дуб Котовского». Казалось бы, что дорога по жизни выбрана, и ничто не помешает осуществить планов «громадьё», но Судьба решила иначе. Пришла беда – война!

В действующей армии Вершигора служил с 30 июля 1941 года. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте, где заменил убитого командира роты, а через несколько дней – погибшего командира батальона. Был ранен в бою 17 августа 1941 года. Отправившись после ранения, Петр Петрович вернулся в строй и в конце сентября 1941 года занял должность начальника бригады фронтовых корреспондентов политотдела 40 армии Юго-Западного фронта.

С марта 1942 года служил в разведывательном отделе штаба Брянского фронта. В тыл врага был заброшен 13 июня 1942 года. Возглавил резидентуру штаба фронта в районе Брянского железнодорожного узла. В октябре 1942 года по решению штаба группа Петра Вершигоры вошла в состав соединения отрядов Сумской области. С того времени офицер воевал вместе с «ковпаковцами». В Карпатском рейде Ковпак получил ранение, и

командиром Украинской партизанской дивизии был назначен Вершигора. В 1944 году Пётр Петрович Вершигора получил звание генерал-майора и Звезду Героя Советского Союза.

Боевой путь нашего легендарного земляка закончился Победой. Он вошёл в историю не только как brave партизан, но и как один из главных фотографов Великой Отечественной войны. Он сделал огромное количество фотографий, многие из которых были посвящены партизанскому быту.

Позже, Пётр Вершигора, обо всём напишет в своих произведениях и даже снимет кино.

Где бы ни был писатель, душой стремился на малую родину. Он часто приезжал к родне в Севериновку и чем мог, помогал. Да и не только родне, а и всем сельчанам, благо возможности и связи у него были. Местные мальчишки его обожали и, ясное дело, любили слушать рассказы о войне, а рассказывать он умел!

О своей жизни Пётр Петрович говорил так: «В юношеские годы мечтал стать агрономом, был сапожником, трубачом музыкальной команды, лихо играл польки, вальсы и краковяки на свадьбах, окончил два вуза, стал артистом и режиссёром, учился, читал, пописывал, но для души больше всех книг и романов любил «Жизнь растений» Тимирязева. Перед войной начал писать повести. А 10 июня 1941 года закончил пьесу «Дуб Котовского» о Хотинском восстании молдавских партизан. Войну провёл по-разному, но честно. И только заканчивая путь по тылам врага, понял, что мне бы с юности стать моряком, неутомимым мореплавателем. Недаром в студенческие годы в Одессе тянуло меня к Дюку, в порт и так манил туманный горизонт волнующегося моря».

Незадолго до своей смерти, в 1962 году, Вершигора посадил дуб у дома культуры Каменки. Так и стоит тот дуб, как памятник всем партизанам.

Умер Пётр Петрович в родных местах, в селе Голерканы Дубоссарского района, куда приехал отдохнуть. Ему было всего 57 лет.

Подумалось, что Пётр Петрович и представить себе не мог, что исчезнет Великая страна, за которую сражалось его поколение, не щадя жизней своих, что из всех щелей ползут недобитые нацисты и их прихвостни, а нынешнее поколение украинцев поменяет память о подвигах предков на мечту о Евросоюзе. И я ему написала.

Т. Базилевская

Последний роман «Оттепели» (Петр Вершигора «Дом родной»)



Эта малая Россия со своим особым обликом – пусть скромной и непритязательной красотой предстает в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, с этой отдельной и милой Родиной, он приходит, с годами к той большой Родине, что обнимает все малые – в великом целом своем – для всех одна.

Александр Твардовский

Период «Оттепели» – один из самых противоречивых в советской истории. Касается это общественно-политических процессов и в СССР, и за рубежом. Считается, что берет он свое начало после смерти Сталина (5 марта 1953г.), получает свое центроостремительное движение на XX съезде КПСС, когда первый секретарь ЦК Н.С.Хрущев прочитал свой знаменитый доклад «О культе личности Сталина и его последствиях». В докладе всю ответственность за преступления, совершенные в 30-40-е годы в стране Советов он возложил на «отца народов». Окончанием «Оттепели» принято считать осень 1964 года, когда Хрущева сняли со всех руководящих постов. Но именно при нем, 13 января 1964 года, Иосифа Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве.

В 1954-1956 гг. были выпущены на свободу из ГУЛАГА и отпущены из спецпоселений миллионы людей. В их числе и сын Анны Ахматовой Лев Гумилев, проведенный в лагере почти 7 лет. Именно поэтому Ахматова запрещала при себе плохо говорить о Хрущеве.

Такого рода противоречивость касается и нелюбимой в СССР падчерицы идеологии – литературы. Не случайно этот период получил название по аналогии с повестью И. Эренбурга, увидевшей свет в 1954г.

19 мая 1957 года прошла первая встреча Хрущёва с интеллигенцией. Он возмущался выпуском Альманаха «Литературная Москва» и обрушил свой высочайший гнев на присутствующих писателей. Эта встреча очень ярко описана В.Тендряковым в рассказе «На блаженном острове коммунизма». В 1958 г. началась травля Бориса Пастернака за публикацию романа «Доктор Живаго» в Италии. Его исключили из Союза писателей СССР, несмотря на его отказ от присужденной ему Нобелевской премии по литературе. Конфликт губительным образом сказался на его здоровье: 30 мая 1960 года поэта не стало.

В это период активно выступает против лакировки действительности в советской литературе журнал «Новый мир», который с 1950 года возглавляет А. Твардовский. Именно на его страницах появляются смелые и во многом скандальные критические статьи В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Щеглова. 8 ноября 1962г. в журнале с личного разрешения Н. С. Хрущева был напечатан рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вскоре он был переиздан «Роман-газетой», затем вышел из печати отдельной книгой. Автор едва не получил Ленинскую премию.



Вторая встреча руководства партии с интеллигенцией состоялась 7 марта 1963 года в Свердловском зале Кремля. Именно тогда Хрущев произнес свою жесткую речь по поводу отказа ряда писателей от соцреализма, этого ведущего и единственного метода советской литературы. А. Солженицын называл его «клятвой отречения от правды». Особенно досталось молоденькому Андрею Вознесенскому, волей случая оказавшегося на месте выступающего.

И при всем этом советская литература получает важнейший импульс в своем развитии. Возникают такие художественные явления, как «деревенская проза», «лейтенантская проза», «авторская песня», в стране наблюдается настоящий поэтический бум. В литературный процесс возвращены произведения ранее запрещенных авторов, таких как И. Бабель, М. Булгаков, М. Цветаева и других.

Появляется термин «писатели-шестидесятники». Именно в период «Оттепели» начали свою литературную деятельность Ю. Трифонов, В. Аксенов, Г. Владимов, Е. Евтушенко, И. Бродский и многие, многие другие авторы, составившие славу советской и российской литературы.

Все это наблюдает, являясь активным участником общественной и литературной жизни, Петр Вершигора. Режиссер по образованию, с начала войны военкор, затем с мая 1942г. интендант II ранга в разведуправления Брянского фронта Вершигора совершает головокружительную военную карьеру. С августа 1942 г. – заместитель командира по разведке партизанского соединения С. А. Ковпака, с декабря 1943 – командир этого соединения. Партизанская дивизия под его командованием совершила в 1944 году рейд в Польшу и Неманский рейд. 6.08.1944г. постановлением СНК СССР П. П. Вершигоре было присвоено звание генерал-майора. 7.08.1944 г. указом Президиума ВС СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4324). Его военный опыт настолько востребован, что в 1947-1954гг. он преподает в Академии Генштаба СА.

Разведка и литераторы – это история отдельная. Представляется, что в этих двух старейших видах человеческой деятельности истинные высоты недостижимы без развитого воображения. И здесь Вершигора оказывается в прекрасной компании: Дефо, Бомарше, Грибоедов, Киплинг и т.д.

В 1946 году Петр Вершигора публикует книгу «Люди с чистой совестью», за которую удостоивается Сталинской премии 2-й степени. Но вскоре начинается беззастенчивая травля: автора упрекали в натурализме, в искажении исторических фактов, в попытках посеять рознь между братскими советскими народами на уровне противопоставления украинского партизанского движения белорусскому и т.д. Он вынужден перерабатывать книгу. По этому поводу, знавший Вершигору лично, критик Юрий Оклянский задается вопросом: «Отчего же автор взялся за добровольное ухудшение книги? Было это отчасти следствием общего «оледенения» и духовного зажима, последовавшего с началом «холодной войны», а в сфере культуры выразившееся в серии партийных постановлений ЦК по литературе и искусству 1946-1948 годов?» (1). Вопрос представляется риторическим.

В годы «Оттепели» Петр Вершигора переживает очень плодотворный период в своем литературном творчестве. Все неприятности, связанные доработкой первой книги, со статьей «О «бывалых людях» и их критиках», где он пишет о необходимости правды о блокадном Ленинграде (1948г.), с его критикой по поводу искажения исторической правды в первом томе академической «Истории Украинской ССР» (Киев, 1953г.), с придуманным «Винницким делом» остались позади.

Писатель завершает в 1960 году партизанскую трилогию документальной повестью «Рейд на Сан и Вислу» (2-я книга – «Карпатский рейд»), публикует 3 сборника рассказов: «Иван-герой», «Партизанская любовь», «Невыдуманные приключения». Работает над романом «Дом родной».



Роман был опубликован в 1963 году, вскоре после смерти писателя и его можно с полным основанием отнести к «литературе шестидесятников». Отсюда неслучайное сходство тематической проблемы с повестью В. Некрасова «В родном городе» (1954г.), что очевидно даже из названий произведений. Речь идет об интеграцию в мирную жизнь людей, состоявшихся до войны, закаленных ее, наделенных, как правило, определенной бескомпромиссностью (Вершигора – 1905 года рождения, Некрасов – 1911 года). В этом отличие от «лейтенантской прозы» – там и сами авторы, и их герои лично состоялись на войне, и все время пытаются переосмыслить ее опыт. Получается, что тематика поколенческого несколько иная.

Корпус роман состоит из 2 книг, каждая из которых включает в себя 3 главы: 1-3, 4-6. Каждая глава включает в себя ряд важных смысловых моментов выделенных в тексте арабскими цифрами, назовем это подглавами. Соответственно: 5, 7, 7, 7, 6, 15. Это дает автору возможность акцентирования, а читателю – более глубокого осмысления текста. Вершигора прекрасно понимает, что роман достаточно длинный (400 стр.) и читательским вниманием надо управлять.

Композиция романа Вершигоры усложнена вставной новеллой, расположенной в главе 3,3. Этот композиционный прием хорошо известен в мировой литературе. Достаточно вспомнить «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Мертвые души» Н. Гоголя, «Бесы» Ф. Достоевского. Б. Томашевский отмечает: «Вставные новеллы – характерная особенность старой техники романа, где иногда и главное действие романа развивается в рассказах, которыми обмениваются персонажи при встречах» (2,с.249). К этой вставной новелле мы еще вернемся.

За корпусом романа – система эпитафий, которая присутствует у Стендаля в «Красном и черном», А.Пушкина в «Капитанской дочке», Д.Фаулза в «Подруге французского лейтенанта». Эпитафия, как известно, подчеркивает основную мысль автора в последующем тексте, направляет восприятие читателя в нужном писателю ключе. Ко всему роману предпослан эпитафия из Р. Роллана, известного пацифиста и выглядит он

достаточно парадоксально «...Мысль – более прочный оплот, чем пушки! Артиллеристы – к своим орудиям...». Остальные из русских и советских поэтов. Два отрывка из Ф. Тютчева, где присутствует образ дыма, призрачный, как стремление полного познания жизни и человека. Герой много размышляет по этому поводу. Он, вообще, как человек образованный (окончил исторический факультет), склонен к рефлексии. Отсюда и использование автором такого приема психологизма как внутренний монолог. Спорят как бы два Зуева: вечно сомневающийся интеллигент и убежденный партиз.

Согласно технике ступенчатого построения романа цепочка различных новелл связывается главным героем. Отсюда и прямая экспозиция: Зуев дома, ему снится один из самых страшных боев, через которые он прошел на фронте. Сон же всегда является интегратором бессознательного в сознание. По К. Юнгу «Сон – нормальное психическое явление, передающее спонтанные импульсы или бессознательные реакции сознанию» (3,с.63). Становится ясно, что война и ее мерки еще долго будут определять жизнь Зуева, его отношение к людям. Очевидно, что писателю это очень важно, так как «...Опыт жизни художник преобразует в целостное единство персонажа, структуру, включающую авторское познание, отношение, оценку» (4,с.220).

Действие романа Петра Вершигоры «Дом родной» разворачивается в первый послевоенный год, когда в районах СССР, переживших оккупацию, восстанавливалась мирная жизнь. Главный герой романа Петр Карпович Зуев, бывший пехотный комбат, капитан, а вскоре и майор, возвращается с фронта домой на брянщину, в Подвышковский район. Топонимика названия районного центра Брянской области Подвышков весьма прозрачна. Это реально существующий город Вышков, на что указывает работающая в городе спичечная фабрика, основанная еще в 1907 году. С брянщиной у писателя были связаны события военной молодости (оттуда он призывался в ряды РККА), в последствие он там часто бывал, поддерживая дружеские связи с давними знакомыми.

По авторитетному мнению Ю. Тынянов «В художественном произведении нет неговорящих имен... Каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми красками, на которые только оно способно» (5,с.135). Об одном из героев Швыдченко (от укр. – «быстро») говорится, что он как бы хочет обмануть судьбу, данную ему фамилией. Никогда и никуда он не торопится, не терпит беготни и суеты.

Древнерусское имя «Зуй» имеет значение «подъем, взлет». Фамилия Зуев может иметь свое происхождение от прозвища, данного человеку, который был известен своей активностью и энергичным характером. Это во многом отражает характер героя. По поводу имени Петр (от др.-греч. – «камень») его будущая жена Инна говорит, что оно очень подходит ее избраннику, человеку с весьма твердыми убеждениями.

Зуев получает должность начальника райвоенкомата и привлекается к общественной работе, связанной с колхозами района. Ему 25 лет. О его поколении говорится в романе, что они были хорошо идеологически подготовлены советской школой, свято верили в идеалы коммунизма и их победоносную силу. Но многие из них, не имевшие большого жизненного опыта, проявляли слабость, а другие, более стойкие, пройдя тяжелейшие испытания первых лет страшной войны, все же не могли привыкнуть к катастрофам.

Некая нравственная катастрофа поджидает Зуева дома. 96 раз на пространстве романа встречается слово «дом». Очевидно, что слово это ключевое и обладает повышенной сигнальностью. Но получается, что своей семантической функции (охранение героя) *родной дом* не выполняет. Помня о том, что «всякое вступление в сферу смыслов свершается только через ворота хронотопов» (6,с.391), отметим, что основное время в романе – биографическое, а пространство связано с дорогой, т.е. находится за пределами *дома*. Герой романа в частых разъездах по району, по своим личным делам связанным с дальнейшей учебой он бывает в Москве. Там и развивается его роман с Инной. Путешествием в прошлое (достаточно часто использован прием ретроспекции) можно считать его воспоминания. Словом, герой ищет *путь к себе* как человеку мирного времени.

Из предыстории героя мы узнаем, что в школе он дружил с Шамраем и Зойкой. Они были настолько неразлучны, что, невзирая на гендерные признаки, их называли «три мушкетера». Первая влюбленность, товарищеское соперничество – все это крепко врезалось в память Зуева. Он узнает, что у Зойки ребенок от немца Петера, квартировавшего у них *дома*, которого она вроде бы прижила полюбовно. Как будто расписались они в бургомистрате.

Зуев испытывает горечь и возмущение. Высказывает это матери и получает от Евдокии Степановны жесточайшую отповедь. Мать говорит со злой иронией о сыновьях-защитниках, которых пленными гнали через поселок. Говорит о трусах и о героях. И бросает сыну в лицо справедливое обвинение: как же он посмел бросить своих земляков на поругание врагу, как посмели добежать до Волги?

Зуев в определенной умственной и душевной панике. Он блуждает по поселку, и ноги сами приводят его к Зойкиному дому. Он видит ее стоящую у окна с обнаженным ребенком на руках. В его памяти молнией мелькает альбом, забытый случайным попутчиком профессором Башкирцевым в его машине под Дрезденом «История искусств в иллюстрациях». Особенно его внимание привлекла мадонна на фоне гор и зелени, больше похожая на обычную молодую женщину, воплощающую материнское счастье. Вероятно, речь идет о картине Рафаэля «Мадонна в зелени». Зойка представляется ему рафаэлевской мадонной с ребенком. Не последнюю роль здесь играет и выразительная художественная деталь (инструмент для оркестровки образа) – ореол золотистого света от печки, который путается венчиком в ее волосах.

Такой событийный параллелизм уже содержит в себе внутреннее оправдание Зуевым Зойки, и отпущение героем греха своей подруге детства. В дальнейшем это будет выражаться и в поступках Зуева: он будет всячески пытаться помочь ей. Возможно потому, что тогда, в Германии, глядя на картину, ему подумалось, что война еще долго и смрадно будет чадить в душах людей, отравляя их новую мирную жизнь.



Следует сказать, что насилие над женщинами в ходе войны, к несчастью, дело обычное. Немцы на оккупированных советских территориях здесь отличались особо, хотя поначалу командованием вермахта это не одобрялось. Рожденных от фашистов детей называли «фрицевыми подарками», «немчиками». После освобождения иногда возникали эксцессы, вплоть до самосуда, некоторые за связь с немцами получали реальные сроки. Окружающие, зная о происхождении ребенка, могли проявлять недружелюбие по отношению к его матери и ему самому. Но все же в целом отношение к такому бытовому коллаборационизму в СССР было достаточно спокойным. Выделения женщин, имевших детей от немцев, в отдельную категорию преступниц не было. Сказывалось и чисто мужское чувство вины за отступление в первые два года войны.

На «просвещенном» Западе все было намного жестче. Во Франции женщинам, замеченным в регулярных связях с немцами, выстригали волосы, рисовали на лице и теле свастики, иногда проводили по улицам обнаженными. Такая судьба ждала и тех, кто имел детей от связи с нацистами. Подобное происходило и в других европейских странах.

История с Зойкой Самусенок окончательно проясняется из ее дневника (прямой прием психологизма), который попадает к Зуеву, через Шамрая. Выясняется, что она не успела эвакуироваться. Стала свидетельницей надругательства немцев над своей подругой Надькой, видит ее страшное психологическое состояние. Она не хочет, чтобы с ней случилось подобное. Мучительно думала о самоубийстве, но не решилась покончить с собой и выбрала, как она пишет, третий путь – сошлась с немцем. Зуеву настолько тяжело, что он отставляет чтение дневника. В главе 5,1 Зуев продолжает его читать. Из записей он видит, что немец был достаточно приличным человеком. Он служил техником райхбана (железнодорожная служба), был начальником блокпоста. Ради Зойки пожертвовал карьерой (оформил брак с русской), всячески помогал Зойке, задумывался о происходящем вокруг. Все-таки Зуев не может найти в себе силы до конца дочитать дневник, и судьба немца оказывается непроясненной.

Насколько эта история важна для Вершигоры свидетельствуют два тематических повтора. В больнице (гл.3,7) старушка нянечка обзывает Зойку «шлендрой фрицевской».

В последней главе романа старый фабкомовец Кобас исключает сына Зойки из садика, ее же называет «немецкой овчаркой». Присутствующий при разговоре секретарь райкома Швыдченко стыдит его, вспоминает о глупостях, которые наслушался от ретивых товарищей касательно этого по горячим следам войны.

Вторая травматичная для Зуева история связана с Костей Шамраем. Бывший офицер-танкист горел в своей машине под Прохоровкой, побывал в плену, бежал через всю Европу, но в послевоенное время никак не может избавиться от ярлыка труса и почти предателя. Естественно он обозлен, естественно прикладывается к бутылке. Зуев пытается помочь другу, пристроить его на престижную работу в военкомате. Ничего не выходит. Тот получает легкое ранение, подорвавшись на мине, но теряет силу воли к жизни. Эту волю ему возвращает Швыдченко, обещая восстановить кандидатом в партию. Шамрай сходится с хорошей женщиной, работает трактористом в колхозе.

И у других второстепенных героев, с которыми связано сюжетное движение романа, есть своя предыстория. Она вынуждено рассказана автором, для прояснения конфликта между секретарем райкома Швыдченко и предрайисполкома Сазоновым. Швыдченко – бывший партизан, человек принципиальный и кристально честный, понимающими нужды людей. Сазонов – карьерист, которого интересуют только выполнение инструкций вышестоящих органов. Он не воевал, что неоднократно подчеркнуто в романе, он фактический дезертир – эвакуировался в глубокий тыл всеми правдами и неправдами. Его простили, но предрайисполкома теперь должен ежеминутно доказывать свою преданность советской власти.

Зуев и у того и у другого побывал в *доме*, пообедал в компании их семейств. Здесь писатель использует локальный прием, чтобы контраст между двумя этими персонажами романа был очевиден и на уровне бытовой жизни. У Швыдченко полон дом детей (Зуева поражает количество кроватей), как своих, так и детей погибших на войне родственников. Все достаточно скромно: стол заляпанный чернилами, табуретки. На столе борщ, горячая картошка в мундирах, вобла.

Совсем не то у Сазонова. Комната семейства заставлена мебелью и множеством различных безделушек: раскрашенные букеты в подставках, старинные розовые раковины, вышитые салфетки. Гости угощают заграничным портвейном из трофейного графинчика. К чаю детям полагаются пирожки и конфеты, последние тщательно отсчитаны Марго, так Сазонов называет жену. Лишения в эвакуации породили у них страсть к атрибутам обеспеченной жизни. Чего только стоит ее роскошный халат с пышным бантом на боку.

Именно со Швыдченко больше всего общается и спорит Зуев: о бюрократизме, демократии, сельском хозяйстве, нечистоплотности и махинациях власть имущих. В конце концов, Зуев, привыкший, что на фронте все просто и ясно, окончательно запутывается. Он не понимает хозяйственных хитростей председателей колхозов, расчетов председателя райисполкома. Внутренний монолог с элементами двойничества подчеркивает рефлексорность героя. Он призывает себя перестать заниматься самоковырянием и гнилой интеллигентщиной, но уж очень у него болит душа за людей. Он сочувственно относится и к сложнейшему положению председателей колхозов Горюна и Манжоса, которые и о госпоставках должны думать и о нуждах людей. Зуев понимает,

что они должны лавировать и иногда пускаться на разного рода хитрости. Понимает, но не принимает!

Имя Анри Бергсона упомянутое Зуевым в этих разговорах не просто авторская маркировка, чтобы показать высокий уровень образованности своего героя, но и свидетельство самостоятельности и пытливости его ума. Работы этого французского философа в советское время не издавались. Прочитать их герой (читай автор) мог только в дореволюционном собрании сочинений 1913-1914гг. Он говорит о теории чистого движения возведенного философом в принцип мышления. О героях действия таких, как Гарибальди и Матросов. И, конечно, смотрит на все это как дипломированный историк, знающий, что в работе «Творческая эволюция» А. Бергсон пишет: «Настоящее содержит в себе не что иное, как прошлое, и то, что находится в следствии, уже было в причине» (7). Зуев задумывается об этих причинах: может дело в личных качествах руководителей, а может в устройстве общества?

Сложно сказать насколько прототипичны женские образы в романе. Практически ничего мы не знаем о матери писателя (она рано умерла), о его первой любви. Что касается жены Вершигоры, то она имела партизанское прошлое, особой была несколько эксцентричной, любила крепкие напитки и выражения. Но Ю. Окладский подчеркивал, что «за эксцентричностью скрывалась прямая и верная душа. Женщина это была энергичная, властная и достаточно деловая» (8). Определенное сходство с характером Инны (от греч. – «энергичная»), изображенным в романе, мы видим. Женские персонажи играют в романе подчиненную роль: они должны как можно полнее высветить характер главного героя. Зуев оказывается способен на внимательность, сочувствие и даже нежность. Это очевидно в сцене встречи с Зойкой (гл.3,5). И особенно в сцене с Инной (гл.2,7), отличающейся легким («тяжелый» был невозможен) флером эротизма.

Не случайно, а согласно структурной стратегии текста, композиционный центр романа расположен в главе 3,6. Именно в ней происходит сгущение событий, повлиявших на дальнейшую судьбу героя. Он читает дневник Зойки, пытается устроить на работу Шамрая. В этой главе происходит знаковый разговор с облвоенкомом полковником Коржем, которого знал еще во время войны. Корж, репрессированный в годы Большого террора, сохранил веру в партию и ее дело. Полковник не понимает обозлившегося Шамрая, так как сам прошел через наветы и клевету. Рапорт Зуева об устройстве Шамрая на работу в военкомат он не принимает, не хочет принимать и другой его рапорт – об увольнении. Герой романа вызывает возмущение Коржа, говоря о том, что не понимает, за что преследуется его друг. Он говорит, что советская власть и несправедливость – вещи несовместимые. В разговоре всплывает и история с Зойкой, компрометирующая Зуева, и трофейный фотоаппарат. С ним у Зуева по доносу фронтового знакомого кавалерийского капитана Максименкова (этот персонаж еще мелькнет в романе) также были неприятности. Облвоенком не подписывает рапорт Зуева: надо провести разминирование района. Но вскоре он переведен в замрайвоенкома.

В этой же главе размещена и вставная новелла, связанная со стремлением отдать должное незаслуженно забытым героям Великой Отечественной войны. Новелла, с некоторыми изменениями, дублирует рассказ из опубликованных ранее сборников Петра Вершигоры «Иван-герой» и «Невыдуманные приключения» под названием

«Генерал Сиборов». Структура новеллы несколько осложнена: слушатели (Зуев и Шамрай) вступают в диалог с рассказчиком.



Зуев случайно узнал историю генерала Сиборова еще в 1942 году. Находясь на отдыхе после ранения в селе недалеко от Вязьмы, он стал свидетелем, как высокая комиссия из Москвы занималась могилой советского генерала, которую соорудили немцы. И вот встреча после войны с командиром саперов, направленных в район для разминирования старшим лейтенантом Ивановым. Он находился с генералом до последней минуты его жизни. Иванов рассказал, что когда в группе прорыва Сиборова осталось всего семь человек, генерал был ранен. Группа была окружена немцами, и оберст Шмидке уже готовился выполнить приказ фюрера взять русского генерала живым. Гитлер даже вызывал в ставку для этого генерал-фельдмаршала Браухича.

Выбор у группы был понятный – смерть или плен. После короткого обсуждения все решили не сдаваться. Все согласились принять смерть от руки генерала. Последний патрон в пистолете генерал Сиборов оставил себе. Он говорит, что Иванов должен остаться жить, даже ценой плена. Возможно, он когда-то расскажет людям правду о генерале и его армии. Это и происходит. Иванов попал в плен и остался жив. Он был отпущен ефрейтором СС Боймлером, который был и остался коммунистом. Чтобы оправдаться перед потомками Боймлер оставляет письмо в кармане шинели похороненного Сиборова. Об этом он сказал Иванову. Зуев, задумавший написать диссертации о генерале Сиборове, находит это письмо в архиве.

Все изыскания автора статьи касательно фамилии Сиборов (мнение Ю. Тынянова уже приводилось выше) ничего не дали в плане того идет ли речь, пусть завуалировано, о каком-то конкретном историческом лице. Правда, в сборнике рассказов говорится о земляке генерала – сибиряке по рождению. Тогда – омофоним, и попытка окончательно замаскировать историю гибели генерал-лейтенанта Ефремова (никаких пересечений с Сибирью в его биографии нет) командующего 33-й армией, которая сражалась и погибла в Вяземском котле. В советские годы о Ржевско-Вяземской операции 1942 года вспоминать

не любили и практически о ней не писали. Считается, что в ходе операции безвозвратные потери РККА составили порядка 270 тыс. человек.

К началу Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Ефремов был одним из наиболее опытных генералов Красной Армии. Бывший прапорщик царской армии, во время Гражданской войны дослужился до комкора. Чудом избежал репрессий конца 30-х годов, окончил две военные академии. С 1937 по 1940 год поочередно командовал пятью военными округами

В октябре 1941 года Ефремов был назначен командующей 33-й армией, которая в декабре 1941 года под Москвой нанесла серьезное поражение частям вермахта. После непрерывных боев в декабре и начале января армия нуждалась в отдыхе и доукомплектовании. Но приказ командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова, понятно одобренный Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным, гласил: наступать на Вязьму. Вероятно, сказалась эйфория от победы под Москвой. Уже в феврале 1942 года 33-я армия была отрезана от основных сил Красной Армии. Немцы группировку 33-й армии стянули плотным кольцом. 3 апреля 1942 года немецкое командование предложило армии Ефремова капитулировать. 9 апреля Ставка прислала за Ефремовым самолет. Нетрудно было найти вполне благовидный предлог: ранение, тактическая необходимость, вызов командования... Но Ефремов отказался бросить своих. На самолет погрузили раненых и знамена 33-й армии. Вскоре части армии были рассечены немцами на отдельные группы. Группа командарма в ходе попытки выхода из окружения была окружена немцами и вступила в неравный бой. Генерал-лейтенант Ефремов получил тяжелое ранение и, не желая сдаваться в плен, выстрелил себе в висок из пистолета. Это произошло во второй половине дня 18 апреля 1942 года.

Нашли тело генерала Ефремова наступающие немецкие части. 19 апреля 1942 года он по приказу немецкого командования был похоронен с воинскими почестями в селе Слободка Угранского района Смоленской области. В марте 1943 года Вязьму освободили от немцев, и сын командарма, капитан Михаил Ефремов, первым приехал в Слободку, где, по слухам, находилась могила его отца. Произошло опознание. В том же 1943-м прах генерала торжественно перезахоронили на Екатерининском кладбище Вязьмы. В 1946 году на одной из площадей Вязьмы, названной в честь генерала, был установлен памятник. В 1996 году Указом Президента РФ генерал-лейтенанту Ефремову М. Г. посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Заинтересованный читатель подробности этой трагической истории может найти в книге В. Мельникова «Последний бой генерала Ефремова» (2001г.).



Несмотря на название второй книги рассказов («Невыдуманные приключения») все чистый вымысел, без чего, впрочем, не бывает художественной литературы. Все материалы о 33-й армии, как и о Вяземско-Ржевской операции, столь неудачной для Красной Армии, были засекречены вплоть до начала 90-х годов. И история о личном приказе Гитлера о взятии Ефремова живым, и наказанным за невыполнение приказа оберстом – выдумка писателя. Как и рассказ о последних минутах жизни генерала Сиборова, когда он убивает, естественно с их согласия, своих последних солдат. Вершигора настолько увлекаем своим воображением, что даже допускает историческую неточность: генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич был снят со своего поста 19 декабря 1941 года, когда поражение немецко-фашистских войск под Москвой нельзя было уже не признать. Главное командование сухопутными войсками германской армии Гитлер принял на себя. Нарративно это ошибка из письма ефрейтора Боймлера, которое писатель также придумал.

Всю эту беллетризацию замечает неглупая Инна и говорит Зуеву (гл.4,6), что он может написать рассказ в духе патристических новелл Мопассана «Дядюшка Мелон» и «Мадмуазель Фифи». Она в соответствии со своим резким характером выбирает самые жестокие рассказы писателя о франко-прусской войне 1870-1871 гг. С первым понятно: крестьянин дядюшка Мелон убивает 16 пруссаков. Во втором речь о проститутке. Но выбрана не хрестоматийная «Пышка», где героиня, пусть на своем профессиональном уровне, пытается проявить патриотизм. Рашель убивает пруссака, который оскорбляет ее родину и соотечественников. В качестве орудия мести она использует десертный нож, а сам автор – уничижительное прозвище убитого ей прусского офицера, вынесенное в заглавие новеллы. Возможно, в таком выборе есть и намек на Зойку, которая поступила иначе. Ее грустную историю Зуев своей невесте рассказал (гл.4,7). Тем более, что финал судеб Рашель и Зойки схож: обе, впоследствии, вполне благополучно выходят замуж.

Но «Каждая вещь в тексте, каждое лицо и имя, т.е. все, что отражено в культурном сознании с определенным значением, таит в себе в свернутом виде спектр возможных сюжетных ходов» (9,с.319). В данном случае речь идет о возможности писательской

карьеры героя романа. Такой рода сюжетный ход остается за пределами текста романа, но явно содержит в себе автобиографический элемент.

Все сюжетные линии завершены совершенной законченностью данного этапа жизни героев. Зойка, как уже было сказано, выходит замуж, Шамрай арестован (Зуев не теряет надежды помочь ему, находясь в Москве). Швыдченко отделался выговором и остался на своем посту. Дискредитированный Сазонов отправлен на учебу, что было нормальной номенклатурной практикой. Самого Зуева отправляют подальше от внимательных глаз областных органов безопасности.

Не последнюю роль здесь играет встреча со старым знакомым капитаном Максименковым. Капитан – типичный приспособленец, когда-то погоревший из-за трофеев, активно использующий для собственной выгоды трудности послевоенного времени. Здесь мы снова видим взаимодействие, уже на мотивном уровне, с текстом повести В. Некрасова «В родном городе». О нечистоплотности капитана свидетельствует его партнерство с лжеодезитом Жорой. Последнего как бывшего власовца, вырезавшего у него, пленного, звезду на спине, опознает Шамрай. Вообще случайные встречи (а их в романе предостаточно: отец Инны академик Башкирцев в Германии, сама Инна во время празднования Дня Победы) – это элемент советского панорамного романа (А. Иванов, П. Проскурин и др.). Они нужны не столько для развития сюжета, сколько для того, чтобы подчеркнуть неизбежность для героя некоего нравственного выбора. Кроме того это встреча дает Вершигоре возможность прозрачно указать на антипода Ефремова командующего 2-й ударной армией генерал-лейтенанта А.А.Власова. Его имя также долгие годы было практически под запретом. Власов, как и Ефремов отличился под Москвой, так же в 1942 году оказался в окружении с 2-й Ударной армией (Волховский фронт, Ленинград). Но он сдался в плен, находясь в схожей ситуации. Он стал изменником Родины, организовав РОА (Русская Освободительная Армия) и был повешен в СССР в 1946г.

Пространство романа все время расширяется. Герой движется от своей малой родины, через Москву, к довоенной профессии историка и археолога, к общему человеческому прошлому. От своего личностного конкретно-исторического времени к тому, что М. Бахтин называет «Большим временем», т.е. времени всего человечества. Возможно, Зуев на археологических раскопках найдет останки какого-то древнейшего *дома*. *Дома* всего человечества, что внушает некоторые надежды на нормальное будущее для этого самого человечества. Косвенное подтверждение этой мысли заключено в эпиграфе, взятом к 3-й главе (композиционный центр, как указывалось выше). Это строчки из стихотворения Сергея Есенина «Русь Советская» «Когда во всей планете / Пройдет вражда племен, / Исчезнет ложь и грусть...».

Писатель выбирает второй вариант фабульной завершенности: Зуев женится на Инне, у них растёт дочь. Жизнь продолжается и это даёт некоторую надежду, что все высокие устремления героя по установлению вокруг себя маленького мира правды и справедливости не пойдут прахом.

Получается перед нами вполне добротный роман, который как жанр эпический «...предполагает 3 родовых начала: отраженный мир (образ мира), наличие

повествователя (автора) и наличие специфического способа отражения мира (наррация) (10,с.4). Роман на прочных основаниях традиций мировой литературы, с достаточно разнообразным репертуаром художественных средств, с развитыми характерами героев, написанный достаточно богатым и образным языком.

Получается очень неудобный на закате «Оттепели» для власти роман, так в нем очевидна остросоциальная направленность. Внешний мир в романе субъективирован, т.е. пропущен через сознание героя. Получается очень неудобный герой, сознание которого пытается выскочить за рамки машинальной причинности своего времени и обрести свободу, как в выраженных мыслях, так и в совершенных поступках.

Исключение сына Зойки из садика, арест Шамрая, история с бычками, картошкой, махинациями функционеров, неудачи Красной Армии в первые годы войны – такого рода реализма в романе Петра Вершигоры предостаточно, а вот социалистического реализма... В Уставе СП СССР 1934г. сказано следующее: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». Революционное развитие подразумевало твердокаменную идейность и фанатичную веру в светлое будущее. Вот этого как раз в романе «Дом родной» и нет.

Сложно представить себе, что Петр Вершигора не обращался в центральные издательства, где его книги неоднократно печатались. Тем не менее, роман был принят в Кишиневском издательстве. Тяжело болевший писатель не отправляется в лучшие санатории Крыма или Кавказа, а едет в Дубоссарский район МССР. Вероятно, он хотел следить за ходом предыздательской подготовки. К сожалению, он так и не увидел свой десятилетний труд в виде изданной книги. Умер Петр Вершигора 27 марта 1963 года в 57 лет в селе Голерканы. Роман был подписан к печати 28 июля этого же года.

Тираж, огромный по меркам любого республиканского издательства (Кишинев, Картя молдовеняскэ, 1963г., 200000 экз.), куда-то таинственно исчез: практика изъятия из библиотечных фондов в СССР существовала вплоть до горбачевской перестройки. Инициатором ее была Н. К. Крупская, занимавшая значительные посты в Наркомате просвещения РСФСР.

Печатные экземпляры романа «Дом родной» есть только в ЦБ г.Рыбницы и доме-музее П. П. Вершигоры в с. Севериновка Рыбницкого района. Роман никогда не переиздавался. Автору статьи (большое спасибо Е. Д. Триморуку) его в книжном варианте удалось получить только в Москве, купив с рук. До этого приходилось довольствоваться чтением по Интернету.

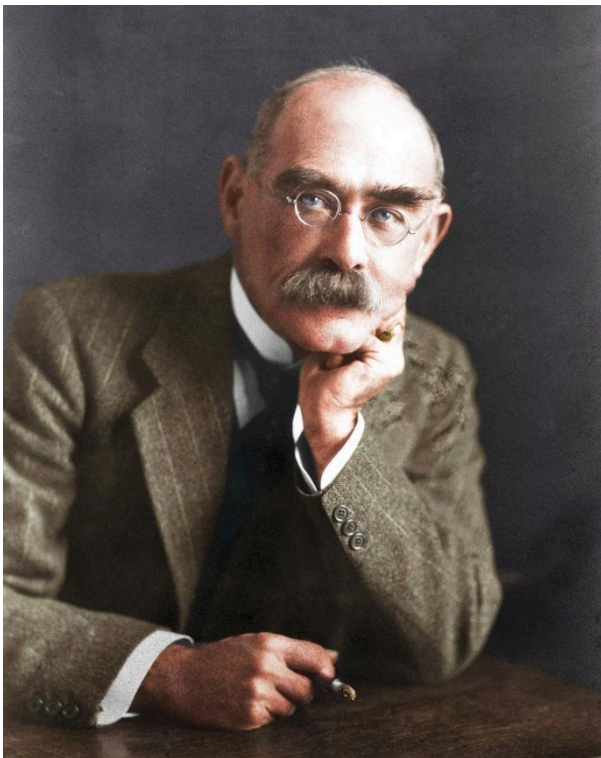
Представляется, что раскрыть загадку с тиражом – одна из задач современной приднестровской критики, а переиздание романа – всей приднестровской культуры.

Литература:

1. Юрий Оклянский. Переодетый генерал // Дружба Народов, №5, 2007г.
<https://magazines.gorky.media/druzhba/2007/5/pereodetyj-general.html>
2. Томашевский Б. В. Теория литературы Поэтика. М., 2020.
3. Юнг К. Подход к бессознательному / Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
4. Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979.
5. Тынянов Ю. Н. Литературный факт / Тынянов Ю. Литературный факт. М., 1993.
6. Бахтин М.М.. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике / Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
7. https://royallib.com/book/bergson_anri/tvorcheskaya_evolyutsiya.html
8. Юрий Оклянский. Переодетый генерал // Дружба Народов. №5, 2007г.
<https://magazines.gorky.media/druzhba/2007/5/pereodetyj-general.html>
9. Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа 19 века / Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
10. Ильев С. П. Русский символистский роман Аспекты поэтики. Киев, 1991.

Ю.

Бень



Джозеф Редьярд Киплинг (30.12.1865, Бомбей, Индия – 18.1.1936, Лондон) – английский поэт, прозаик, публицист. Автор 7 сборников стихотворений, 12 сборников рассказов и 6 романов.

Почетный доктор самых престижных университетов мира Киплинг неизменно отказывался от правительственных наград (и даже от рыцарского звания). В 1907 году получил Нобелевскую премию по литературе – «За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя». В 1908г. рассказы Редьярда Киплинга были изданы в России. Их переводы редактировал И.А. Бунин.

Еще при жизни Киплинг побил все рекорды по тиражам и гонорарам. Вскоре после его смерти увидело свет «подарочное» 35-томное полное собрание его сочинений, напечатанное на бумаге изготовленной вручную. Похоронен в Вестминстерском аббатстве, в Уголке поэтов – рядом с Чарльзом Диккенсом и Томасом Гарди.

Именно так известный английский писатель Генри Джеймс называл Редьярда Киплинга. И это правда. Его писательская судьба знала все: и высокие яростные взлеты, и горькие падения. Целое поколение признавало его властителем своих дум, им восхищались, внимали каждой его поэтической строке. Его знаменитое «Если» стало символом мужества, стойкости, целеустремленности, веры в себя. Его поистине боготворили, считали певцом британской империи. Да и он сам верил в величие и мощь Британии. Он славил верность долгу, подчинение закону, искренне писал о тяжком бремени «белого» человека, который стиснув зубы, служит империи. Но Киплинг так и не смог до конца понять время, которое уже диктовало другие формы жизни и бытия человека. Певец Запада, знавший хорошо Восток, он будто навсегда остался английским джентльменом со своим кодексом чести и достоинства человека. Джордж Оруэлл, автор знаменитой антиутопии, романа-предостережения «1984», в некрологе на смерть Киплинга напишет: «В 13 лет я боготворил Киплинга, в 17 ненавидел. В 20 – восхищался им, в 25 – презирал, а теперь снова нахожусь под его влиянием, не в силах освободиться от его чар».

Эти слова в полной мере могут быть отнесены только к гениальному художнику слова, ибо гений – это Вселенная, он творец того художественного мира, в котором сосуществует все. Мы можем восхищаться его достоинствами, будем выискивать в его творчестве и судьбе те недостатки, которые не замечаем в себе, чтобы ценить его значимость и за это презирать или восхвалять его и вновь возвращаться к тем его словам и строкам, которые заставляют задуматься о том, что мы значим в этом мире и как и чем измерить в нас то человеческое, что еще живет, что еще не истлело в наших душах. Потому, вероятно, так нам дороги и близки кипплинговские строки:

И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, -
Земля – твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты – человек

Таким человеком, сумевшим «мерить секундами дальний бег» – свою жизнь, как подвиг подвижничества явился герой новеллы Киплинга «Всего лишь субалтерн» Бобби Вик. Чувство долга и стойкость перед тяготами и лишениями службы – вот что определяло его как личность. Он часть своего полка, обычный служака, который в опасную минуту рядом с теми, кому он нужен, кто страдает во время злосчастной эпидемии лихорадки, беспощадной к каждому из однополчан. И вот для этого каждого он больше чем командир, чем священник, он родной, свой, тот, кто утешит и спасет. Его хватало на всех. Он был везде и был всем. «Бобби Вик носился по палаткам своей роты, подбодрял, отчитывал,

мягко, как того требовал устав, подтрунивал над слабым духом, а чуть прояснялось, выгонял здоровых греться под едва пробивающиеся сквозь водяные испарения лучи солнца, уговаривал их не вешать носа, ибо близиться конец невзгодам, скакал на своем ушастом пони по окрестностям и загонял обратно в лагерь солдат, которые по извращенности, присущей британским солдатам, вечно забредали в зараженные деревни или утоляли жажду из затопленных дождями болот, подбодрял руганью павших в панику и не раз ходил за теми умирающими, у которых не завелось друзей, солдатами без земляков...».

Он был везде и всем, оттого не бог, не кумир, а обыкновенный смертный, которому просто верят, кого просто ждут, потому что он способен быть частичкой чужой боли, чужой радости, чужого горя. И смерть, свою смерть, Бобби Вик встретит с достоинством, подобающим истинному Человеку. Он просто перестанет верить в жизнь. « – Я жутко устал, – сказал Бобби чуть слышно. – Какой смысл пичкать меня лекарствами? Я больше не хочу их... оставьте меня. Жажда жизни покинула Бобби, – смертная волна подхватила его и несла - он не сопротивлялся».

В образе Бобби Вика слились воедино лучшие черты английского солдата, каким представлял его себе Киплинг: честь, достоинство, умение жертвовать собой, сострадать другим. Это тот идеал, к которому нужно стремиться, даже жестокий быт войны, представленный в новелле «Барабанщики «Передового-тылового», не в силах его изменить. Лучшие герои военных рассказов Киплинга этому идеалу соответствуют, хотя реальность была гораздо страшнее и печальнее. Но несмотря ни на что у Киплинга всегда будут слиты воедино высокие понятия о чувстве долга, о чести с обыкновенными человеческими порывами, с состраданием к ближнему. Именно в этом главная его особенность как художника слова, как истинно признанного классика английской и мировой литературы.

Ю.

Заяц

*Всего лишь субалтерн**

Не только понуждать приказом, но и воодушевлять примером ревностного выполнения долга и стойким несением тягот и лишений, неизбежных в военной службе. Устав Бенгальской армии.

В Сэндхерсте** Бобби Вика заставили сдавать экзамен. Джентльменом он был и до того, как его произвели в чин, а когда королева объявила, что «джентльмен-юнкер Роберт Ханна Вик назначается вторым лейтенантом в полк Тайнсайдских Хвостокрутов***, расквартированный в Краб-Бокхаре, он разом стал и офицером и джентльменом, — а что может быть завиднее? То-то ликовали в доме Виков, и мама Вик, и все маленькие Вики пали на колени и воскурили фимиам Бобби за его доблестные свершения.

Папа Вик в свое время был комиссаром, повелевал тремя миллионами человек в округе Чхота-Балдана, ворочал большими делами на благо страны и прилагал все силы, чтобы вырастить две травинки там, где дотоле росла лишь одна. Разумеется, в тихой английской деревушке, где он был известен просто как «старый мистер Вик», никто не знал о его прошлом; забылось и то, что он имел Звезду Индии третьей степени.

Он потрепал Бобби по плечу и сказал: «Отлично, мой мальчик!»

За сим — пока шился мундир — последовала восхитительная передышка, во время которой Бобби получил внеочередной чин «кавалера» на местных теннисных кортах и чайных посиделках, где всегда была пропасть дам, и рискну утверждать, буде ему разрешили приступить к несению службы чуть позже, непременно бы влюбился — и не в одну, а в нескольких девушек. В таких тихих деревушках всегда переизбыток прелестных девушек, ибо все молодые люди покидают родину в поисках счастья.

— Индия, — сказал папа Вик, — самое подходящее для тебя место. Я оттрубил там тридцать лет, а вот, ей-ей, хоть сейчас готов туда вернуться. Если там еще не забыли Вика из Чхота-Балданы, Хвостокруты примут тебя как родного, и многие будут к тебе добры в память о нас. Мать тебе лучше может рассказать о тамошних; но твердо помни одно: держись своего полка, Бобби, держись своего полка. Ты встретишь там людей, которые будут рваться в штаб корпуса и заниматься какими угодно делами, кроме непосредственно полковых, их пример может тебя соблазнить. Так вот, постарайся укладываться в свое содержание — а тут я не поскупился; в остальном же держись строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы. За чужие

* Младший офицер войск Британии и Содружества

** Королевская военная академия Великобритании

*** Тайнсайд — крупнейшая городская агломерация региона Северо-Восточной Англии. Каждый британский полк по негласной традиции имеет прозвище, часто грубого характера, это писатель, вероятно выдумал.

векселя ручайся с оглядкой, а если тебя угораздит влюбиться в женщину двадцатью годами старше, не вздумай делиться со мной, вот и все.

Таковыми, а также многими другими столь же ценными советами папа Вик подбодрял Бобби вплоть до последней жуткой ночи в Портсмуте, когда офицерские казармы оказались переполнены против устава, уволенные на берег матросы схватились с новобранцами, направляющимися в Индию, и бой бушевал, долго не затихая, на всем расстоянии от ворот Верфи вплоть до трущоб Лонгпорта, а тем временем фэаттонские шлюхи ворвались в порт и попортили физиономии офицерам королевы.

У Бобби Вика, на чьем веснушчатом носу красовался устрашающий синяк, в чьи обязанности входило загнать на судно отряд, который шатало и мутило с перепоею, а также заботиться об удобствах не менее полусотни весьма презрительно настроенных дам, не оставалось ни минуты, чтобы предаться тоске по родине до тех пор, пока «Малабар» не пересек канал наполовину, но и тогда ему пришлось урывать время от этих возвышенных чувств для нечастой проверки караулов и частых рвот.

Хвостокруты были полком весьма взыскательным. Те, кто знал их хуже всего, говорили, что они скупаемы «спесью». Но их сдержанность и оградительные меры являлись по преимуществу защитной дипломатией. Лет этак четырнадцать назад полковой командир, взглянув в четырнадцать бестрепетных глаз семи пухлых, наливных субалтернов, которые обратились к нему с просьбой перевести их в штаб корпуса, возопил: с какой стати, о звезды, ему, строевому командиру, руководить треклятой детской для трижды треклятых сосунков, нацепляющих запрещенные уставом шпоры и тиранящих круглых олухов, командующих безмозглыми, забытыми богом туземными полками. Он был грубиян и страшилище. После чего оставшиеся позаботились (использовав кий в качестве орудия общественного мнения), чтобы на родину полетели слухи, что молодым людям, которые склонны рассматривать Хвостокрутов как ступеньку, с которой можно перескочить в штаб корпуса, предстоят многочисленные и разнообразные испытания. Но так или иначе, полк имеет такое же право на свои тайны, как женщина.

Когда Бобби прибыл из Деолали и занял свое место в рядах Хвостокрутов, ему деликатно, но твердо дали понять, что отныне полк для него отец, мать и навеки вечные венчанная жена и что под шатром небес нет преступления более ужасного, чем покрыть позором полк — полк, равного которому нет ни в стрельбе, ни в строевой подготовке, самый славный и во всех отношениях самый замечательный полк в пределах Семи Морей. Его заставили вызубрить наизуток все легенды офицерского собрания от истории улыбающихся золотых божков из Летнего Пекинского дворца до истории оправленной в серебро табакерки из рога дикой козы — дара последнего П. К. (того самого, который вещал перед семьей субалтернами). И каждая из этих легенд рассказывала о битвах с превосходящими силами противника, которые полк вел, не ведая страха и не рассчитывая на подкрепление; о гостеприимстве, беспредельном, как гостеприимство араба, о дружбе, бездонной, как море, и стойкой, как линия фронта, о славе, добытой нелегким путем и одной лишь славы ради, и о безоговорочной и беспрекословной преданности полку — полку, который предъявляет права на жизнь всех и каждого, отныне и во веки веков.

Неоднократно ему по долгу службы случалось иметь дело с полковым знаменем, больше всего оно напоминало подкладку шляпы каменщика, вздетую на обглоданную палку. Бобби не преклонял пред ним колен и не боготворил его, ибо это не свойственно

британским субалтернам. Напротив, в то самое время, когда оно преисполняло благоговением и прочими благородными сантиментами, Бобби роптал на то, что его так тяжело тащить.

Однако самое большое счастье он испытал на рассвете того ноябрьского дня, когда, облаченный в парадную форму, шагал в рядах Хвостокрутов. За вычетом дневальных и больных, полк насчитывал одну тысячу восемьдесят человек, и Бобби чувствовал себя частью полка: разве не был он субалтерном строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы, о чем свидетельствовал грохот двух тысяч ста шестидесяти тяжелых походных сапог? Он не поменялся бы местами ни с Дейтоном из конной артиллерии, во весь опор промчавшимся мимо него в облаке пыли под выкрики «Право, лево», ни с Хоган-Йейлем из полка белых гусар, гнавшим свой эскадрон вперед, не щадя ни людей, ни подков, ни с «Клещом» Буало, который пыжился изо всех сил, дабы не посрамить своего блистательного голубого с золотом тюрбана, в то время как бенгальская кавалерия, растянувшись рысью, преследовала, словно рой ос, могучих, переваливающихся с боку на бок коней белых гусар.

Они сражались весь ясный, нежаркий день, и Бобби почувствовал, как холодок пробежал у него по спине, когда вслед за гроыханьем очередного залпа послышалось позвякивание пустых гильз, выскакивающих из затворов; он знал, что настанет день — и ему доведется участвовать в настоящем деле. Учения закончились грандиозными скачками по равнине: батареи с грохотом неслись за кавалерией, к великому неудовольствию белых гусар, а Тайнсайдские Хвостокруты гоняли Сикхский полк до тех пор, пока не загнали вконец сухопарых, долговязых сикхов.

Бобби еще задолго до полудня был с ног до головы запорошен пылью, пот тек с него ручьями, но энтузиазм его не угас, а лишь нашел себе применение.

И по возвращении он сел у ног Ривира, своего «ротного», правильнее сказать, капитана роты, постигать темное и таинственное искусство управления людьми, которое составляет немалую часть воинского ремесла.

— Если у тебя нет данных, — говорил Ривир, попыхивая манилой, — тебе ни за что не освоить этой премудрости, но запомни, Бобби, самая хорошая строевая подготовка не выведет полк из пекла. Вывести его может только человек, который умеет управлять людскими тварями всяческих пород — кобелями, свиньями, баранами и так далее.

— Таковыми, к примеру, как Дормер, — сказал Бобби. — Его, по-моему, можно причислить к породе дураков. Он кукуется, как хворая сова.

— Вот тут-то ты и ошибаешься, сынок. Дормер пока еще не дурак, просто он зверски грязный солдат, и старший по комнате вывешивает его носки всем на посмешище перед смотром ранцев. Дормер же — а он на две трети животное — забивается в угол и огрызается.

— Откуда вы все это знаете? — восхищенно спросил Бобби.

— Ротному командиру положено все знать; если он не будет знать таких вещей, он может прозевать преступление, которое назревает у него под самым носом, да что там

преступление, убийство. Дормера сейчас так травят, что он вот-вот рехнется: хоть он парень и здоровый, у него не хватает ума дать отпор. Вот он и повадился надираться втихомолку. Учти, Бобби, когда объект издевок всей казармы запил или хандрит в одиночку, необходимо принять меры, чтобы его отвлечь.

— Какие еще такие меры? Нельзя же вечно нянчиться с солдатами.

— Нельзя. Солдаты живо дадут тебе понять, чтобы ты оставил их в покое. А вот поехал бы ты...

Их прервал приход старшего сержанта с бумагами; пока Ривир просматривал бланки, Бобби предался размышлениям.

— Дормер чем-нибудь занимается? — спросил Бобби небрежно, будто продолжая прерванный разговор.

— Нет, сэр. Делает машинически, что велено, — сказал сержант, питавший слабость к ученым словам. — А уж грязный он, хуже некуда, сейчас у него чуть не все жалованье идет в начет за новое обмундирование. Он с ног до головы перемазан в чешуе, сэр.

— Чешуе? Какой такой чешуе?

— Рыбной, сэр. Он целый день торчит у реки, копается в грязи, чистит эту самую рыбу мачли, прямо пальцами ее чистит.

Ривир углубился в ротные бумаги, и сержант, который на свой грубоватый манер был привязан к Бобби, продолжал:

— Он, как надерется, прямиком идет на реку, и, говорят, чем больше он под мухой, точнее сказать, нетверезый, тем лучше ему рыба идет в руки. В роте, сэр, его кличут Малохольный Рыбник.

Ривир поставил подпись на последнем бланке, и сержант удалился.

«Гнусная забава», — вздохнул Бобби про себя. А вслух сказал:

— А вас, и правда, беспокоит Дормер?

— Несколько. Понимаешь, он не настолько спятил, чтобы отправить его в госпиталь, и не настолько пьян, чтобы посадить на гауптвахту, но раз он хандрит и куксится, он, того и гляди, закусит удила. Он не выносит, когда в нем принимают участие, как-то я взял его на охоту, так он ненароком чуть не подстрелил меня.

— Я отправляюсь на рыбную ловлю, — сказал Бобби с кислой миной. — Найму в деревне лодку и с четверга до субботы спущусь вниз по реке, а этого молодчагу Дормера прихвачу с собой — если вы тут сумеете обойтись без нас обоих.

— Дубина ты стоеросовая! — сказал Ривир, но про себя поименовал Бобби куда более лестно.

И Бобби — капитаном, а рядовой Дормер — подручным капитана спустили лодку на воду в четверг утром; рядовой сел на нос, субалтерн — за руль. Рядовой смущенно поглядывал на субалтерна; тот, понимая чувства рядового, не трогал его.

По прошествии шести часов Дормер перешел на корму, отдал честь и сказал:

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вам приходилось бывать на Дэрхемском канале?

— Нет, — сказал Бобби Вик. — Садитесь, перекусим.

Завтрак прошел в молчании. Когда спустились сумерки, рядового Дормера вдруг прорвало, и он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Точь-в-точь такой же выдался вечерок, когда я был на Дэрхемском канале, тому аккурат год стукнет через неделю, я еще ногами болтал в воде. — Он закурил и не проронил больше ни слова, пока не пришло время лечь спать.

Колдовские краски зари залили серую гладь реки пурпуром, золотом, перламутром; казалось, неуклюжая лодка медленно прокладывает путь по великолепию новых, невиданно прекрасных небес.

Рядовой Дормер высунул голову из-под одеяла и загляделся на окружающую его красоту.

— Ах ты, лопни мои глаза! — сказал он испуганным шепотом. — Ну, право слово, волшебный фонарь, да и только! — Весь остаток дня он не проронил ни звука, зато ухитрился, чистя рыбу, перемазаться кровью и чешуей.

В субботу вечером они вернулись. Начиная с полудня, Дормер пытался побороть собственное косноязычие. Дар речи он обрел, лишь когда принялись выгружать удочки и багаж.

— Не сердитесь, сэр, — сказал он. — Но вы не побрезгуете пожать мне руку, сэр?

— Конечно, нет, — сказал Бобби и в подтверждение своих слов пожал протянутую ему руку. После чего Дормер отправился в казармы, а Бобби — в офицерское собрание.

— Видно, ему всего-то и нужно было, чтобы его оставили в покое, ну и еще немного поудить, — сказал Бобби. — Но, бог ты мой, до чего он грязный! Вам доводилось видеть, как он чистит эту самую рыбу мачли пальцами?..

— Как бы там ни было, — сказал Ривир через три недели, — он теперь изо всех сил старается содержать себя в чистоте.

Когда весна пришла к концу, Бобби не остался в стороне от всеобщей потасовки за право провести лето в горах и, к своему изумлению и восторгу, получил три месяца отпуска.

— Такой славный малый, что лучше и желать нельзя, — похвалил Бобби Ривир, его ротный.

— Лучший из всех новичков, — сказал начальник штаба полковнику. — Оставьте здесь этого желторотого сачка Поркисса, и пусть Ривир покажет ему, где раки зимуют.

И Бобби, ликуя, отбыл в Симлу-Пахар, прихватив с собой жестяной сундук, набитый великолепными нарядами.

— Это сын Вика, старины Вика из Чхота-Балданы? Пригласи его на обед, дорогая, — говорили почтенные мужи.

— Какой милый мальчик! — говорили дамы и девицы.

— Отличное местечко Симла. По-о-отрясающе! — сказал Бобби Вик и по этому случаю заказал себе новые плисовые бриджи.

...«Дела наши плохи, — писал Ривир Бобби Виду, когда второй месяц отпуска подходил к концу. — С тех пор как ты уехал, полк треплет лихорадка, и нешуточная: двести человек в госпитале и чуть не сотня на гауптвахте — запили в надежде отогнать лихорадку. На плацу набирается от силы пятнадцать шеренг. В окрестных деревнях так свирепствует эпидемия, что даже думать об этом страшно, впрочем, меня замучила потница, и я готов хоть сейчас в петлю. Ходят слухи, что ты покоришь сердце некоей мисс Хэверли, правда? Надеюсь, это не серьезно? Ты еще слишком молод, чтобы повесить такой жернов себе на шею, к тому же, если ты предпримешь нечто подобное, полковник в два счета вытребует тебя из Симлы».

Однако из Симлы Бобби вызвал не полковник, а куда более почтенное начальство. Эпидемия разрасталась, базар отнесли подальше от военного городка, а затем разнесся слух, что Хвостокруты получили приказ выступить из городка и стать лагерем. Телеграф домчал эту весть до горных курортов: «Холера — Отпуска приостановлены — Офицеры отзываются в полки». Прощайте, белые перчатки в жестяных коробках, намечавшиеся верховые прогулки, балы и пикники, любовь, оставшаяся в намеке, долги, оставшиеся неоплаченными! Не ропща и не прекословя, нещадно погоняя своих коней, мчались субалтерны — кто на двуколке, кто на пони — к своим полкам и батареям, так, будто спешили на собственные свадьбы.

Бобби получил приказ, когда он возвращался с бала в охотничьем доме вице-короля, где... впрочем, одной лишь мисс Хэверли ведомо, что говорил Бобби и на сколько вальсов он претендовал на следующем балу. Рассвет застал Бобби в конторе, где он под проливным дождем нанимал двуколку; вихревая мелодия последнего вальса все еще звучала в его ушах, а голова кружилась, но причиной тому было не вино и не вальс.

— Молодчик! — прорвался сквозь пелену дождя голос Дейтона из конной артиллерии. — Как тебе удалось достать двуколку? Я еду с тобой. Охо-хо! Ну и перебрал я вчера. Правда, я-то до конца не досидел. Говорят, на батарее дела плохи. — И он уныло пропел:

Брось, все брось — чего уж тут!

Брось отару в гиблом месте,

Брось непогребенным труп,

Брось у алтаря невесту.

— Но, ей-ей, тут дело пахнет не невестой, а трупом. Прыгай, Бобби.

На платформе в Умбалле группа офицеров в ожидании поезда обсуждала последние новости из пораженного эпидемией военного городка; только тут до Бобби дошло, как плохи дела у Хвостокрутов.

— Они получили приказ выступить из городка и стать лагерем, — сказал пожилой майор, отозванный от ломберных столов в Массури в пораженный эпидемией туземный полк, — и им пришлось везти двести десять человек в повозках. Только лихорадкой больны двести десять человек, да и у остальных вид неважный — глаза больные, ни дать ни взять — привидения. Даже Мадрасский полк их шутя разбил бы наголову.

— Но, когда я уезжал, все были здоровехоньки, — сказал Бобби.

— Надо надеяться, что, когда вы вернетесь, они от радости снова станут здоровехоньки, — жестко сказал майор.

Пока поезд мчался по раскисшим полям Доаба, Бобби стоял, прижав лоб к залитому дождем оконному стеклу, и молился за здоровье Тайнсайдских Хвостокрутов. Наини Таль, не медля ни минуты, выслала всех до одного офицеров, взмыленные пони Дальхузирууд, чуть не падая, вошли в Патханкот, а тем временем калькуттская почта подобрала в затынутом облаками Дарджилинге последнего отставшего воина маленькой армии, которой предстояло дать бой, где победителя не ждали ни медали, ни почести, против такого врага, как «зараза, опустошающая в полдень».

Когда очередной офицер являлся к нему доложить о прибытии, он говорил: «Да, плохи наши дела», — и, не мешкая, возвращался к своим занятиям, так как все без исключения полки и батареи городка лежали по палаткам, и зараза стояла у их изголовья.

Бобби под проливным дождем еле добрался до временки, где разместили офицерское собрание, и Ривир, увидев его неказистую, пышущую здоровьем физиономию, от радости чуть не кинулся ему на шею.

— Постарайся развлечь и занять их, — сказал Ривир. — Не успели заболеть первые два, как остальные, бедолаги, запили с перепугу, а с тех пор никаких изменений к лучшему не наблюдается. Ох, и рад же я, Бобби, что ты вернулся! Что до Поркисса... даже говорить не хочется.

Из артиллерийского лагеря к ним прибыл Дейтон, разделил с ними скучный обед в офицерском собрании и усугубил общее уныние, описав со слезой судьбу своей любимой батареи. Поркисс настолько забылся, что посмел утверждать, будто от офицеров все равно нет никакого толку и что разумнее всего было бы отправить полк в госпиталь, «и пусть за ними там ходят доктора». Поркисс от страха совсем потерял голову, не привела его в чувство и отповедь Ривира:

— Если вы придерживаетесь такого мнения, тогда чем скорее вы отсюда уберетесь, тем лучше. Любая частная школа может прислать нам полсотню отличных малых взамен вас, но полк, Поркисс, делают время, деньги и упорный труд. Вот представьте-ка на минуту, что это вы заболели и в палатки нам пришлось переселиться из-за вас?

Вследствие чего у Поркисса пошел по коже мороз, прогулка под дождем отнюдь не улучшила его состояния, и двумя днями позже он отошел из нашего мира в тот, где, как мы наивно полагаем, к плотским слабостям питают снисхождение. Полковой старшина, когда ему сообщили эту новость, окинул усталым взглядом сержантскую столовую.

— Господь прибрал худшего из них, — сказал он. — Когда он приберет лучшего, тогда, даст бог, эта напасть кончится.

Сержанты помолчали, потом один из них сказал:

— Только б не его! — И все поняли, о ком думал Трэвис.

Бобби Вик носился по палаткам своей роты, подбодрял, отчитывал, мягко, как того требует устав, подтрунивал над слабыми духом, а чуть прояснялось, выгонял здоровых греться под едва пробивающееся сквозь водяные испарения лучи солнца, уговаривал их не вешать носа, ибо близится конец невзгодам, скакал на своем мышастом пони по окрестностям и загонял обратно в лагерь солдат, которые по извращенности, присущей британским солдатам, вечно забредали в зараженные деревни или утоляли жажду из затопленных дождями болот, подбодрял руганью впавших в панику и не раз ходил за теми умирающими, у которых не завелось друзей, солдатами без «земляков»; устраивал при помощи банджо и жженой пробки любительские концерты, на которых полковые таланты могли блеснуть во всей красе, словом, как он сам говорил, был «всякой бочке затычкой».

— Ты стоишь едва ли не десятка таких, как мы, Бобби, — сказал как-то ротный в приступе восторга. — Как только тебя на все хватает?

Бобби не ответил, но, загляни Ривир в нагрудный карман его мундира, он увидел бы пачку писем, в которых, по всей вероятности, Бобби черпал силы. Письма эти приходили через день. Что касается орфографии, письма могли вызвать нареkanie, зато выраженные в них чувства явно были на высоте, ибо по получении очередного письма глаза Бобби начинали сиять, и он на какое-то время впадал в сладостное забытие, вслед за чем, мотнув коротко остриженной головой, вновь окунался в работу.

Но чем он завоевал сердца самых отчаянных сорвиголов (а в рядах Хвостокрутов насчитывалось немало молодцов с золотым сердцем, но буйным нравом), не мог понять ни ротный, ни полковой командир, который знал от священника, что в госпитальных палатах на Бобби куда больший спрос, чем на его преподобие Джона Эмари.

— Похоже, что солдаты к тебе привязаны. Ты часто бываешь в госпиталях? — сказал полковник, он в этот день, как обычно, обходил госпиталь, приказывая солдатам выздоравливать как можно скорее — с суровостью, которая не скрывала его глубокой скорби.

— Случается, сэр, — сказал Бобби.

— Я бы на твоём месте ходил туда пореже. Хотя и говорят, что эта зараза не прилипчива, не стоит рисковать зря. Знаешь ли, мы не можем себе позволить тебя потерять.

А через шесть дней почтальон, обвешанный тяжелыми сумками, едва дотащился до лагеря по непролазной грязи: дождь лил как из ведра. Бобби получил письмо, унес его к себе в палатку, и едва программа очередного любительского концерта была успешно завершена, уселся за ответ. Целый час его неуклюжая рука прилежно водила пером по бумаге, а там, где чувства переполняли его, Бобби высовывал язык и сопел. У него не было привычки писать письма.

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, — сказали в дверях. — Только Дормера прихватило, его свезли в госпиталь.

— Пропади он пропадом, твой Дормер, и ты вместе с ним, — сказал Бобби, промокая неоконченное письмо. — Передай ему, я приду утром.

— Его страсть как прихватило, сэр, — запинаясь голос. Грубые сапоги нерешительно чавкали по грязи.

— Ну? — нетерпеливо спросил Бобби.

— Извините великодушно, сэр, если я позволю себе лишнее, только он говорит, если вы с ним посидите, ему, мол, полегчает, а то...

— Вот тебе на! Заходи, не стой под дождем, подожди, пока я кончу свои дела. Ох, и надоели же вы мне! Вот бренди. Выпей. Тебе это сейчас нужно. А теперь держись за стремя, и если не будешь поспевать за мной, скажи.

Санитар, не моргнув глазом, хлопнул стаканчик горячительного и, подкрепившись таким образом, прошлепал по грязи всю дорогу до госпитальной палатки вровень с оскользящимся, заляпанным грязью и крайне раздосадованным пони.

Рядового Дормера и впрямь «здорово прихватило». Он был на грани кризиса и являл собой жалкое зрелище.

— Что это ты забрал себе в голову, Дормер? — сказал Бобби, нагибаясь к рядовому. — Нет, нет, не вздумай умирать. Мы еще с тобой съездим разок-другой на рыбную ловлю.

Синие губы раздвинулись, издав еле слышный шепот:

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вы не побрезгуете поддержать меня за руку.

Бобби присел на край кровати. Ледяная рука вцепилась в него клещами, вдавив надетое на мизинец маленькое женское колечко. Бобби, стиснув зубы, приготовился ждать. С брюк его капала вода.

Прошел час, Дормер не ослабил хватки, не изменилось и выражение его искаженного болью лица. Бобби с незаурядной ловкостью исхитрился закурить манилу

левой рукой (его правая рука онемела до самого локтя) и приготовился к мучительной ночи.

Когда рассвело, изрядно побледневший Бобби все еще сидел на койке Дормера, а доктор стоял в дверях и осыпал его словами, не предназначенными для печати.

— Ты что, всю ночь здесь проторчал, остолоп? — сказал доктор.

— Более или менее, — сказал Бобби покаянно. — Он ко мне примерз.

Тут Дормер, лязгнув челюстями, закрыл рот, повернул голову и вздохнул. Пальцы его разжались, и рука Бобби, выпущенная из тисков, бессильно упала.

— Он выкарабкается, — сказал доктор тихо. — Похоже, он всю ночь висел между жизнью и смертью. — А тебя, видно, надо поздравить с удачным исцелением.

— Ерунда! — сказал Бобби. — Я думал, он давно испустил дух... просто как-то не хотелось отнимать у него руки. Разотрите-ка меня, вот так, спасибо! Ох, и хватка же у этого парня! Я промерз до костей. — И он, весь дрожа, вышел из палатки.

Рядовому Дормеру разрешили отпраздновать победу над смертью сильными возлияниями. А через четыре дня он сидел на койке и просветленно объяснял другим больным:

— Уж очень мне невтерпеж с ним поговорить — а то как же...

Бобби тем временем читал очередное письмо (никто в лагере не получал писем так часто, как он) и собирался было написать в ответ, что эпидемия затухает и, самое большее, через неделю-другую отступит окончательно. Он не хотел писать, что холод от руки больного просочился до того самого сердца, которое так умело любить. Зато он хотел вложить в письмо разукрашенную программу предстоящего любительского концерта, которым он немало гордился. Хотел он написать и о многом другом, что нас не касается, и непременно написал бы, если б не легкий жар и головная боль, по причине которых он просидел весь вечер в офицерском собрании вялый и ко всему безучастный.

— Ты слишком надрываешься, Бобби, — сказал ему ротный. — Мог бы передоверить часть работы нам. Ты так надсаживаешься, будто должен работать за нас всех. Передохни немного.

— Ладно, — сказал Бобби. — Я и впрямь несколько устал.

Ривир озабоченно посмотрел на него, но ничего не сказал.

В эту ночь по лагерю мелькали фонари; ходили слухи, которые подняли людей с постелей и заставили сгрудиться у дверей палаток. Чавкали по грязи босые ноги носильщиков, раздавался стремительный топот копыт.

— Что случилось? — спросили двадцать палаток, и по двадцати палаткам разнесся ответ:

— Вик захворал.

Когда эту новость сообщили Ривиру, он застонал:

— Заболей кто угодно, кроме Бобби, я бы смирился. Прав оказался полковой старшина.

— Нет, я не поддамся, — задыхаясь, шептал Бобби, когда его поднимали с носилок. — Нет, я не поддамся. — И добавил с глубочайшей уверенностью: — Понимаете, мне никак нельзя.

— Конечно, нет, если это только в моих силах, — сказал старший врач, который тотчас примчался из офицерского собрания, бросив на середине обед.

Он бок о бок с полковым врачом отвоевывал у смерти Бобби Вика. В разгар хлопот их прервало появление обросшего призрака в небесно-сером халате; призрак глядел на постель и причитал: «Ах ты, господи! Неужто это он!» — до тех пор, пока разгневанный санитар не прогнал его прочь.

Если б уход врачей и жажда жизни могли помочь, Бобби был бы спасен. Он и так целых три дня сопротивлялся смерти, отчего нахмуренный лоб старшего врача разгладился.

— Мы его спасем, — сказал он, и полковой врач, который хоть и приравнивался по рангу к капитану, был юн душой, выскочил из палатки на свет божий и, не помня себя от радости, заплясал по грязи.

— Нет, я не поддамся, — стойко шептал Бобби Вик на исходе третьего дня.

— Молодцом! — сказал старший врач. — Так держать, Бобби!

А вечером серые тени сгустились вокруг губ Бобби, и он в изнеможении отвернулся к стене. Старший врач свел брови.

— Я жутко устал, — сказал Бобби чуть слышно. — Какой смысл пичкать меня лекарствами? Я... больше не... хочу их... Оставьте меня.

Жажда жизни покинула Бобби, и он охотно отдался медленно накатывавшей на него смертной волне.

— Мы напрасно стараемся, — сказал старший врач. — Он не хочет жить. Бедный мальчик, он ищет смерти. — И врач высморкался.

А за полмили от госпиталя полковой оркестр исполнял увертюру, начинался концерт: солдат уверили, что Бобби вне опасности. До Бобби донеслось громоуханье медных тарелок и вой рожков.

Я радость знал, я знал печаль

И в горе не сробею.

Не любишь. Что ж... Скажи: прощай

И уходи скорее.

По лицу юноши промелькнуло выражение крайней досады, он попытался тряхнуть головой.

— В чем дело, Бобби? — нагнулся к нему старший врач.

— Только не этот вальс, — забормотал Бобби. — Только не наш... тот наш с ней... Мама, милая...

Произнеся эту загадочную фразу, он погрузился в забытие, а на следующее утро, так и не приходя в себя, умер.

Ривир, у которого веки стали совсем красными, а нос побелел, зашел в палатку Бобби — написать папе Вику письмо — письмо, которое неминуемо пригнет к земле седую голову бывшего комиссара Чхота-Балданы, ибо горя горше ему не пришлось испытать за всю его жизнь. Немногочисленные бумаги Бобби в беспорядке валялись по столу, среди них нашлось недописанное письмо. Оно обрывалось на предложении: «Так что, как видишь, любимая, опасаться нечего: пока я знаю, что ты любишь меня, а я тебя, со мной ничего не случится».

Ривир провел в палатке час. Когда он вышел, глаза его покраснели еще пуще.

* * *

Рядовой Конклин, примостившись на опрокинутом ведре, слушал музыку, которую ему доводилось нередко слышать в последнее время. Рядовой Конклин только что пошел на поправку и требовал особо бережного к себе отношения.

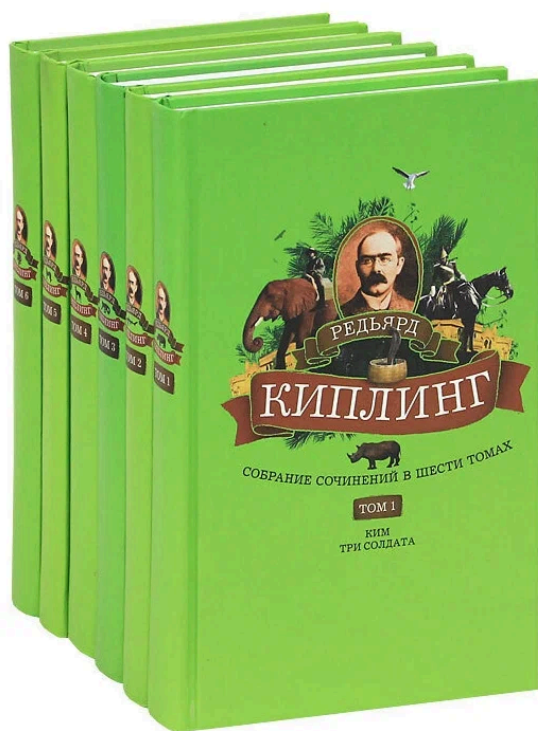
— Ишь ты! — сказал рядовой Конклин. — Еще один офицеришка окочурился.

В тот же миг он слетел с ведра, а из глаз его посыпался сноп искр.

Высоченный детина в небесно-сером халате разглядывал его с нескрываемым омерзением.

— Бесстыжий ты, Конки! Офицеришка? Офицеришка окочурился, говоришь? Я тебя научу, как его обзывать. Ангел! Всамделишный ангел окочурился! Вот как!

Санитар счел кару настолько справедливой, что не отправил рядового Дормера в постель.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От составителей.....	2
<i>Николай Фридман. Стихотворения</i>	4
<i>Петр Илюхин. Стихотворения</i>	7
<i>Петр Шпаков. Стихотворения</i>	11
<i>Виталий Сайнчин. Стихотворения</i>	14
<i>Алла Мельничук. Стихотворения</i>	16
<i>Тамара Базилевская. Баллада о мальчике Вове</i>	19
Игорь Ильин. <i>Из книги «Дороги фронтовые»</i>	22
Николай Корытник. <i>Егорка-разведчик</i>	42
Александр Карасев. <i>Дедово наследство</i>	48
Николай Кудин. <i>Фронтовое письмо</i>	54
Николай Нароков. <i>Никуда. Роман (продолжение)</i>	60
Юрий Заяц. <i>Беспокойное сердце</i>	92
Юрий Заяц. <i>Это страшное слово – Война!</i>	95
Тамара Базилевская. <i>Петр Петрович Вершигора</i>	99
Юрий Бень. <i>Последний роман «Оттепели» (Петр Вершигора «Дом родной»)</i> ...	101
Юрий Заяц. <i>Законченный гений</i>	117
Редьярд Киплинг. <i>Всего лишь субалтерн</i> . Перевод Л. Беспаловой.....	119
Содержание.....	132

В ближайших выпусках:

Произведения приднестровских поэтов и прозаиков

Продолжение романа Николая Нарокова «Никуда»

Материалы, посвященные 100-летию со Дня рождения авторов «лейтенантской прозы»

Критические статьи о творчестве Виктории Пилецкой, Николая Фридмана, Юрия Баранова, Евгения Тримурука

Новеллы Пауля Хейзе, Мориса Метерлинка, Карла Шпиттелера
